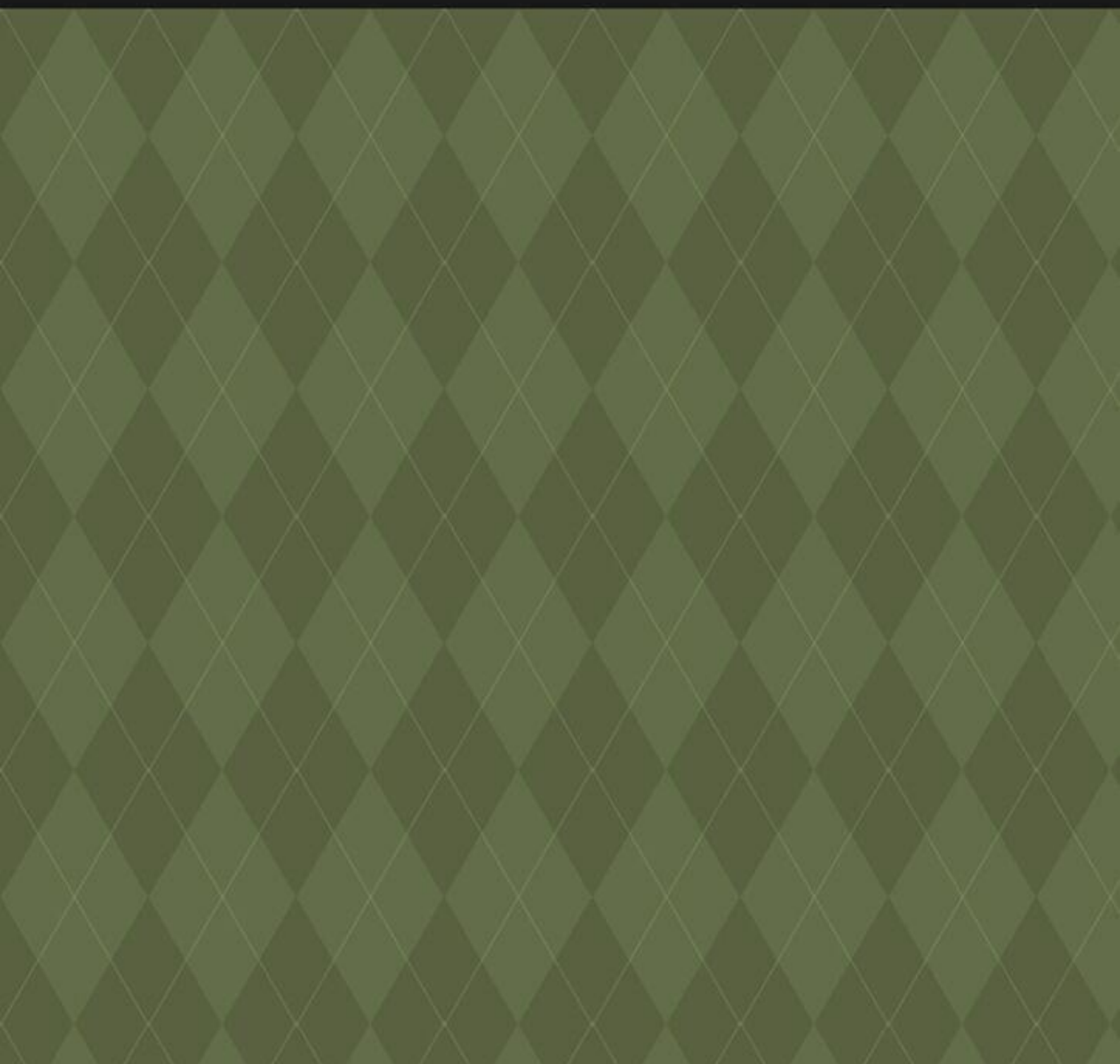


18+

Ава Файзуллаева

Роман «Цена света»

Она видит мир в свете и тени, он видит ее — сквозь душу.



Ава Файзуллаева

**Роман «Цена света». Она
видит мир в свете и тени,
он видит ее — сквозь душу**

«Издательские решения»

Файзуллаева А.

Роман «Цена света». Она видит мир в свете и тени, он видит ее —
сквозь душу / А. Файзуллаева — «Издательские решения»,

Елена — художница, живущая в Испании. Ее картины — не просто искусство. Это отражения человеческой души, в которых каждый видит то, что скрывает от себя. В ее жизнь входит Адриан — загадочный мужчина, за которым стоит нечто большее, чем человеческая природа. Он не создаёт тьму. Он лишь раскрывает её. Он становится ее вдохновением и ее испытанием. Через него ее искусство начинает говорить правду, которую невозможно игнорировать.

© Файзуллаева А.

© Издательские решения

Содержание

Часть 1. Падение	6
Глава 2. Провал	9
Глава 3. Мастерская	13
Глава 4. Руки	17
Глава 5. Эхо и стены	22
Глава 6. Точка кипения	26
Глава 7. Адриан	30
Глава 8. Билет	35
Часть 2. Сделка	41
Глава 10. Вилла	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Роман «Цена света»
Она видит мир в свете и тени,
он видит ее — сквозь душу

Ава Файзуллаева

© Ава Файзуллаева, 2026

ISBN 978-5-0070-5622-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть 1. Падение

Глава 2. Чужая жизнь

Хлорка въедалась в кожу медленно, как правда.

Елена уже не чувствовала жжения — только тупое онемение от кончиков пальцев до запястий, словно руки постепенно переставали ей принадлежать. Она опустила швабру в ведро, и вода в нём стала мутно-серой, как небо за панорамными окнами пентхауса. Февраль. Москва лежала внизу придавленная, бесцветная — тысячи крыш, тысячи чужих жизней, сложенных аккуратными прямоугольниками.

Здесь, на двадцать восьмом этаже, воздух был другим. Стерильным. Мёртвым.

Она оглядела гостиную — этот безупречный мавзолей чьего-то благополучия. Белый мрамор пола отражал ее саму: маленькую фигуру в синей рабочей форме с логотипом «CleanPro», волосы убраны под резинку, под глазами — фиолетовые тени усталости, въевшиеся глубже, чем хлорка в ладони. Мебель цвета слоновой кости стояла, вероятно, больше, чем она заработает за год. За два. За всю оставшуюся жизнь — если жизнь вообще оставалась.

Елена этого не знала.

Она передвигалась по квартире механически, как заведенная кукла: протереть полку — не оставить разводов, поправить журнал на столике — строго параллельно краю, выровнять подушки на диване — углы в сорок пять градусов. Хозяин, некий Вадим Сергеевич, оставил список на четырёх страницах. Убористым почерком, с подчеркиваниями. Требования к уборке санузла занимали страницу и восемь пунктов.

На кухне стоял незамытый бокал с остатком красного вина. Дорогого — она научилась различать запахи. Дорогое вино пахнет иначе: сложнее, глубже, в нём есть что-то почти живое. Елена взяла бокал в покрасневшие руки и секунду просто держала его, глядя сквозь тонкое стекло на зимний горизонт.

Вот так, наверное, и живут, — подумала она. — *Пьют в одиночестве хорошее вино. Смотрят на огни города. Не думают о том, сколько стоит упаковка кадмия жёлтого.*

Она поставила бокал в мойку и открыла воду.

В ванной комнате Елена задержалась дольше, чем следовало.

Не потому что там было грязно — нет, напротив. Там было зеркало. Огромное, от пола до потолка, с теплой подсветкой по периметру, которая делала любое лицо красивым. Даже её — уставшее, бледное, с сухими губами. Даже её — на секунду.

Она провела тряпкой по поверхности. Стекло послушно сделалось прозрачным, потом онадохнула — появилось облачко пара, и в нём, как наваждение, мелькнул другой образ: Елена в светлом платье, волосы распущены, она стоит на солнечной террасе над морем, и в руках у неё не тряпка — кисть, и пахнет не хлоркой, а—

Скрипнула входная дверь.

Она убрала видение, потеряла зеркало сильнее. Круговыми движениями, как учили.

— Эй.

Голос был такой, каким открывают двери ногой.

Елена обернулась. В проеме ванной стоял мужчина лет сорока пяти — широкоплечий, в сером кашемировом пальто, которое он еще не успел снять. Вадим Сергеевич. Лицо холеное, уверенное, с той особой печатью власти, которая отпечатывается не от рождения — от привычки, от многолетней безнаказанности. Взгляд скользнул по ней, как по части интерьера — функциональной, но не заслуживающей отдельного внимания.

— Вы закончили с зеркалом? — спросил он, не здороваясь.

— Заканчиваю, — сказала Елена.

— Подойдите-ка.

Он сам подошёл — отстранил её плечом, не грубо, но с той небрежностью, с которой отодвигают стул. Наклонился к зеркалу. Долго смотрел — и Елена поняла, что он смотрит не на себя. Он искал.

— Вот, — сказал он, указав пальцем в верхний правый угол. — Видите?

Она посмотрела. В падающем свете — еле заметная полоса, тонкая, как волос. Развод от тряпки.

— Вижу, — сказала Елена.

— Я плачу не за «вижу». — Он выпрямился и посмотрел на неё с тем выражением, каким смотрят на счёт в ресторане, где что-то не так. — Я плачу за результат. В чём проблема?

Елена набрала воздуха.

— Я протру еще раз. Секунда.

— Секунда, — повторил он, как будто само слово было неприемлемым. — Вы уже здесь три часа. Три часа, и у вас полоса на зеркале.

— Зеркало большое. Иногда при одном угле света.

— Меня не интересует физика. — Он снял пальто, перекинул через руку, снова посмотрел на неё. — Вы вообще понимаете, как должно выглядеть зеркало? Не должно быть видно ни-че-го. Ни одного следа. Это базовое требование.

— Я понимаю.

— Судя по зеркалу — нет.

Пауза.

Где-то в пространстве между его словами и её молчанием Елена почувствовала привычное — то движение внутри, которое она научилась подавлять. Как вода подо льдом. Темная, живая, настойчивая.

Она взяла свежую тряпку. Аккуратно, медленно провела по углу зеркала. Развод исчез.

— Готово, — сказала она ровно.

Он смотрел ещё несколько секунд — проверял, или просто потому что мог.

— В следующий раз с первого раза, — сказал он наконец и вышел из ванной.

Его шаги прошли по мрамору в сторону кухни. Звякнул холодильник. Зашумела кофемашина — дорогая, она знала этот звук, он стоял как ее месячная зарплата. Запахло свежим эспрессо — сложно, глубоко, почти живо.

Елена стояла перед зеркалом.

Смотрела на своё отражение — красные руки, синяя форма, резинка в волосах — и считала. Не секунды. Не деньги. Она считала, сколько ещё раз сможет вот так открыть рот, произнести «я понимаю» и закрыть его обратно, не сказав того, что думает.

Число было небольшим.

Оставшийся час она работала в тишине.

Хозяин сидел в кресле у окна с ноутбуком, и Елена огибала его, как огибает мебель — молча, стараясь не занимать пространство. Пылесос она не включала, пока он не ушёл в кабинет. Руки действовали сами: полировка деревянных панелей, протирка плинтусов, выравнивание книг на полке. Кто-то расставил их по цвету корешков — декоративная библиотека, в которой явно никто не читал. Елена провела пальцем по одному корешку: Борхес. «Вымышленные истории». Она читала эту книгу в институте, зачитала до дыр, до отклеившейся обложки.

Этот экземпляр был как новый.

Она поставила его обратно — ровно, в сантиметре от соседнего, как требовал список.

Не думай, — сказала она себе. — *Просто сделай работу и уйди.*

Но мысли не спрашивали разрешения.

Они приходили, как всегда — вместе с усталостью, когда защита ослабевала. Сначала — злость: тихая, точная, как игла. Потом — стыд, потому что злиться на человека, который тебе заплатит, кажется неблагодарным. Потом — что-то хуже стыда, что-то без названия, тяжёлое, как ведро с грязной водой.

Она думала о красках.

Кадмий жёлтый закончился две недели назад. Кобальт синий — месяц. Она работала тем, что осталось: охра, жженная умбра, немного белил — и смешивала, смешивала, пытаясь из этих трёх цветов вытащить хоть что-то живое. Последняя картина вышла мутной. Она стояла у стены в её восьмиметровой комнате и смотрела на нее — маленькую, мутную, беспомощную — и чувствовала, что это портрет. Не пейзаж, как она задумывала. Портрет.

Купить краски. Заплатить за интернет. Отдать долг Ире.

Список в голове крутился круглые сутки — тихий, методичный, безжалостный.

Она вытащила телефон, пока хозяин был в кабинете. Открыла браузер. Ввела в поиск то, что вводила уже сотни раз, как молитву или как наваждение: *недвижимость Валенсия, вилла у моря.*

Экран вспыхнул белыми стенами, красными черепичными крышами, синью Средиземного моря — такой насыщенной, что она казалась ненастоящей. Апельсиновые деревья. Терраса с видом на воду. Свет — тот особый средиземноморский свет, который живописцы искали веками, от которого любой цвет становится чище, честнее, живее.

Двести тридцать тысяч евро, — стояло под первым вариантом.

Она закрыла браузер.

Убрала телефон. Взяла тряпку.

Перед уходом Вадим Сергеевич принял работу — обошёл квартиру с таким видом, будто подписывал государственный контракт. Заглянул в санузел. Провёл пальцем по полке в прихожей — посмотрел на палец, удовлетворенно чуть качнул головой. Молча отсчитал купюры, положил на тумбу у входа.

— В следующую пятницу, — сказал он.

Не «спасибо». Не «до свидания». Просто — информация.

— Хорошо, — сказала Елена.

Она взяла деньги. Пересчитала — не потому что не доверяла, а потому что это было правилом: всегда пересчитывай. Сложила в карман куртки. Подняла сумку с инвентарем — тяжёлую, пахнущую химией — и вышла в лифтовый холл.

Двери лифта закрылись.

В зеркальной стене она увидела себя — снова, как весь день. Синяя форма. Резинка в волосах. Красные руки. Сумка с хлоркой.

Двадцать восемь этажей вниз.

Она смотрела на своё отражение — и впервые за долгое время не отвела взгляд. Смотрела, пока лифт спускался, пока цифры над дверью убывали: 27, 26, 25. Смотрела и думала о том, что где-то есть свет, который делает цвета честнее. Что где-то есть терраса над морем. Что где-то есть она сама — другая, настоящая — с кистью в не заболевших руках.

Валенсия, — сказала она беззвучно, одними губами.

Как заклинание.

Как последнее, что осталось.

Двери открылись. Февраль ударил в лицо.

Она вышла на улицу — и в кармане, под купюрами, ее пальцы нашли старый чек из художественного магазина: кадмий желтый, кобальт синий. Список того, что нужно купить.

Когда-нибудь.

Глава 2. Провал

Подвал пах сыростью и дешёвой краской для стен — той самой, что наносят поверх плесени, надеясь, что никто не заметит. Михаил Борисович покрасил всё в белый три недели назад, и Елена тогда решила, что это хороший знак. Белый — это чистота, пространство, возможность. Теперь, стоя у входа и глядя на развешанные холсты, она думала, что белый — это просто белый.

Она пришла на два часа раньше.

Переделалась ещё ночью — темно-синее платье в мелкий цветочек, купленное на секонд-хенде на Соколе. Чуть мало в плечах, чуть велико в талии, но другого не было. Елена подпоясать тонким ремешком, посмотрела на себя в мутное зеркало — и убедила себя, что сойдёт. Потом вернулась к зеркалу через пять минут. Потом еще раз. Потом запретила себе смотреть.

Руки она мыла трижды. Сначала обычным мылом, потом с содой, потом снова с мылом. Хлорка не уходила — она сидела в порах, в самом основании ногтей, в трещинах на безымянном пальце. Запах химии, резкий и честный, как диагноз. На вернисаже своей первой выставки она будет пахнуть туалетным блоком из чужого унитаза — эта мысль пришла в метро и уже не отпускала.

Теперь она стояла у центральной стены и смотрела на свои работы.

Двадцать три холста. Два года. Полторы тысячи часов чужих унитазов и кафельных полов, переплавленных в масло и холст.

Они были светлыми — пронзительно, почти болезненно светлыми на фоне влажного беленого подвала. Валенсия, какой она ее представляла: охристые стены домов, прокаленные солнцем до цвета печеного хлеба. Море с зеленоватой глубиной у горизонта. Апельсиновые деревья в горшках на тесных балконах. Тени на брусчатке — черные, короткие, полуденные. Свет — она гнала его на холст так, будто если написать его достаточно убедительно, он просочится сквозь масло обратно и осветит этот подвал, эту жизнь, её саму.

Центральная работа называлась «Пять часов вечера». Женщина у окна, спиной к зрителю, смотрит на море. Елена писала её полгода, переписывала плечо раз двадцать. Это была её лучшая работа. Она была в этом уверена — или по крайней мере так говорила себе, засыпая.

Теперь, в тишине пустого подвала, глядя на холст при флуоресцентном свете, она вдруг почувствовала что-то похожее на страх. Не нервозность перед выставкой — другое. Более глубокое. Как будто смотришь на письмо, которое написал в детстве, и вдруг понимаешь, насколько ты был наивен, и не знаешь — злиться на себя или жалеть.

Всё это — про место, которого я никогда не видела, — мелькнула мысль. *Про солнце, которого у меня нет.*

Она прогнала её. Сегодня не день для сомнений.

Люди начали подходить к семи. Человек пятнадцать, не больше. Несколько знакомых художников — те, что кочуют с одного вернисажа на другой и всегда говорят правильные слова. Женщина в очках с видом завсегдатая бесплатных мероприятий. Двое студентов, фотографирующих всё подряд, не глядя. Зина — коллега по уборкам, которую Елена по какому-то безумию пригласила и теперь жалела об этом каждые три минуты: та стояла у входа в пальто, не снимая, и смотрела на картины с выражением человека, которого привели в театр на иностранном языке.

Елена ходила между гостями, объясняла, рассказывала. Про свет в Валенсии в пять часов вечера. Про то, что тени там ложатся особенно. Что она изучала испанских живописцев, смотрела тысячи фотографий, читала дневники Сорольи. Голос звучал уверенно — она этому голосу не верила, но он работал без ее участия, как хорошо выученный урок.

Её слушали. Кивали. Переходили к следующей картине.

Никто ничего не просил завернуть.

Михаил крутился рядом, периодически ловил её взгляд и коротко кивал — мол, всё нормально, так и должно быть, рано еще. Она кивала в ответ. Они оба знали, что врут друг другу, и оба делали вид, что не знают.

Борис Лемке вошёл в четверть девятого.

Елена почувствовала его раньше, чем увидела. По тому, как изменился воздух у входа. Как несколько человек машинально повернулись — не потому что он был громким, а именно потому что нет. Он был из тех людей, чьё молчание занимает больше места, чем чужие слова.

Лет пятьдесят пять. Невысокий, плотный — не рыхло, а как-то компактно и тяжело, как старый сейф. Светло-серое пальто с шелковым подбоем. Туфли темно-коричневые, с чуть стертым каблуком: человек, которому давно не надо ничего доказывать даже обувью. Лицо — усталое, бесстрастное, как у патологоанатома в рабочий день. Взгляд двигался по стенам быстро и профессионально — не как у зрителя, а как у оценщика, который точно знает, что именно ищет, и заранее не ожидает найти.

Он не взял бокал с вином.

Михаил подошёл, пожал ему руку, что-то тихо сказал. Лемке кивнул и двинулся вдоль стен.

Елена замерла у «Пяти часов вечера». Физически не могла сдвинуться — не потому что специально выбирала место рядом с лучшей работой, а просто ноги перестали слушаться, и это было самое честное, что в тот момент происходило с её телом. Она наблюдала, как он останавливается перед «Апельсинами» — секунды три, — переходит к «Набережной», к «Портику». Не хмурится. Не улыбается. Не наклоняется ближе. Просто смотрит — как смотрят на вещи, в которых не ожидают ничего нового.

Лемке подошёл к «Пяти часам вечера». Остановился.

Смотрел долго. Дольше, чем на остальные. Это могло означать что угодно — Елена прошла в уме весь диапазон от «он заморожен» до «ищет слова для разноса», и ни на одном варианте не могла устоять. Желудок медленно и неприятно сполз куда-то вниз.

Потом Лемке повернулся к ней. Не к Михаилу. К ней.

— Вы автор?

— Да. — Голос вышел ровнее, чем она ожидала. Почти чужой.

Он снова посмотрел на картину. Потом обратно на неё — коротко, как ставят галочку.

— Красиво, — сказал он.

Одно слово, и в груди у неё что-то дрогнуло — почти облегчение, почти воздух — но он уже говорил дальше, и голос был всё тем же ровным, без злобы, без театральности:

— Красиво. Но пусто. — Пауза — короткая и точная, как пауза хирурга перед разрезом. — Как открытка из провинции.

Он произнёс это так, как называют диагноз. Без желания обидеть — просто факт, который зафиксирован и подшит к делу. Именно это было невыносимо: не жестокость, а равнодушие. Он не хотел её уничтожить — он просто сказал правду так, как видел ее, и эта правда не стоила ему ничего.

Потом Лемке слегка кивнул — не ей, скорее своим собственным мыслям — развернулся и пошёл к выходу. Михаил засеменил следом.

Елена стояла и смотрела на «Пять часов вечера».

Женщина у окна. Море. Свет.

Открытка из провинции.

Что-то внутри — не в голове, а где-то ниже, в районе рёбер — тихо и окончательно треснуло. Не взорвалось, не рухнуло с грохотом. Просто треснуло — как трескается лёд весной: сначала почти неслышно, а потом вдруг понимаешь, что уже проваливаешься.

Она не двигалась. Боялась, что если сделает шаг, это станет заметно.

Подвал опустел быстро — будто Лемке унёс с собой весь кислород. Женщина в очках поставила недопитый бокал и ушла, не попрощавшись. Студенты уже исчезли раньше. Знакомые художники почему-то перестали встречаться с ней взглядом. Зина подошла, сжала плечо — «Лен, мне завтра в шесть, ты понимаешь» — и тоже растворилась в прямоугольнике двери.

Осталась Елена, Михаил и двадцать три холста.

Несколько секунд было совсем тихо. Слышно было, как капает кран где-то за стеной.

— Лена, — начал Михаил. Он говорил тихо. Мягко. Голос человека, который принёс плохие новости и уже простил себя за это заранее. — Лена, я должен сказать тебе...

— Не надо, — перебила она.

— Надо. — Он вздохнул, потёр переносицу. — Выставка не дала результата. Совсем. Я понимаю, что ты работала, что это два года твоей жизни, я вижу это — правда вижу. Но коммерчески... — Он развел руками. Жест человека, которому жаль, но не настолько, чтобы изменить решение.

— Я понимаю.

— Я не могу больше держать это место за тобой. У меня очередь, Лена. Молодые ребята, у которых уже есть покупатели, есть интерес от галеристов...

— Я всё поняла. — Она взяла сумку.

— Работы можешь забрать на следующей неделе, я не тороплю. — Он помолчал. — И если надумаешь поменять что-то в концепции — знаешь же, что я всегда готов рассмотреть заново...

— Спасибо, Михаил.

Она сказала это очень спокойно. Именно этот спокойный голос — не её, взятый напрокат у кого-то более собранного — вывел её на улицу.

Дождь ударил сразу — как будто специально ждал за дверью. Тяжёлый, майский, без предупреждения. Елена остановилась на верхней ступеньке, посмотрела в небо — сплошная серая вата без единого просвета — и пошла.

Зонта не было.

Пять остановок пешком. Мимо аптеки с зелёным крестом, мимо шаурмечной, пахнущей луком и тмином в любое время суток, мимо детской площадки, где металлические качели скрипели на ветру. Она знала этот путь наизусть. Прошла его тысячу раз — утром, на уборки. Теперь шла с выставки собственных картин, в насквозь промокшем платье, которое прилипало к коленям с каждым шагом.

Открытка из провинции.

Фраза жила в ней — не отпускала, не тускнела. Более того: чем дольше она шла, тем точнее понимала, что хуже всего не то, что Лемке это сказал. Хуже всего — что за долю секунды до его слов она уже знала. Уже слышала это где-то глубоко внутри — в том месте, куда не заходишь, пока можно не заходить. Два года она заглушала этот голос следующим слоем краски, следующим холстом, следующей убедительной ночью у мольберта. А он всё равно сидел там, знал.

На перекрестке из-за угла вылетела машина и прошлась по луже. Холодная вода — в подол, в ноги, брызги до локтей. Водитель не притормозил. Она даже не посмотрела вслед.

Комната встретила её запахом старого ковра и чужой кухни из-под соседской двери. Скрипнул паркет под левой ногой у порога — как всегда, как сто раз до этого.

Елена сняла туфли прямо в коридоре. Прошла к кровати. Села.

В мокром платье. Не переодеваясь.

Сидела и смотрела в стену. Потом посмотрела на руки.

Ладони красноватые, с мелкими трещинами у основания большого пальца, с белесыми пятнами там, где кожа давно сдалась хлорке. Ногти — коротко обрезанные, без лака, потому что лак не живёт дольше одной уборки. Эти руки каждый день драили чужие ванны, натирали

чужие полы, выжимали чужие тряпки. Эти же руки держали кисть. Выдавливали кадмий и умбру. Выстраивали свет.

Пустой свет.

Она вдруг подумала: а что, если это — всё? Что если вот это и есть её потолок — красиво, технично, правильно и совершенно пусто? Что если искра — это не то, что развивают и добывают трудом, а то, с чем рождаются, и у неё её просто нет? Что если два года она с невероятным упорством полировала отсутствие?

Мысль была чудовищной. И одновременно — почти облегчением. Потому что если это правда, то можно перестать. Можно просто перестать биться об это. Сдать холсты обратно на хранение, завтра выйти на уборку, послезавтра тоже — и не думать больше про Валенсию, про охристые стены, про свет в пять часов вечера.

Это была страшная мысль. Но она лежала рядом с ней в темноте тихо и терпеливо — как лежит усталость, которая больше не требует ничего объяснять.

Может быть, они правы.

Может, во мне нет искры.

Может, её никогда не было.

За окном дождь шёл ровно и без интереса к тому, что происходит внутри. Город жил своим — огни, машины, чужие кухни, чужие голоса. Всему остальному миру было совершенно всё.

Глава 3. Мастерская

Она не помнила, как заснула.

Просто в какой-то момент темнота за закрытыми глазами стала плотнее — и всё. Ни сновидений, ни провалов, ни того тревожного полусна, когда мозг не отпускает и крутит одно и то же по кругу. Просто выключилась, как перегоревшая лампочка.

Проснулась от света.

Он был серым, этот свет — не утренним, а каким-то отработанным, как вода после стирки. Пробивался сквозь пыльную тюль над единственным окном и ложился на пол длинными, белыми полосами. Елена лежала на боку, не меняя позы с ночи, и смотрела на эти полосы. Платье высохло прямо на ней — было жёстким и холодным, как бумага.

Первые несколько секунд она ничего не помнила. Потом вспомнила — и это было похоже на то, как наступаешь ногой, ожидая твёрдое, и уходишь в пустоту.

Она лежала еще минут двадцать. Потолочная трещина была на месте — надёжная, как всегда.

Потом всё же встала.

Тело после этой ночи было как чужое — тяжелое, неловкое, с болью в плечах от того, что спала скрючившись. Елена подошла к раковине, открыла кран, подождала, пока пойдет горячая — горячая не пошла, она никогда не шла быстро. Умылась холодной. Посмотрела на себя в зеркало.

На нее смотрела женщина с темными кудрями — влажными после умывания, тяжёлыми, разметавшись по плечам так, будто сами по себе решали, куда им лечь. В другое время, в другом настроении, эти волосы могли казаться красивыми — густые, шатенка с рыжиной там, где попадал свет. Сейчас просто лезли в лицо, и она убрала их за ухо раздраженным жестом. Зелёные глаза — чуть раскосые, с тем хитроватым, лисьим прищуром, который незнакомые люди иногда принимали за надменность, а она сама давно перестала замечать — смотрели из зеркала устало и без всякого выражения. Как у человека, которому нечего от себя скрывать, потому что скрывать уже нечего.

Она отвела взгляд. Лицо проигравшего выглядит именно так, и незачем в это вглядываться.

Она заварила чай. Встала у окна с кружкой.

Снаружи было обычное утро обычного города — трамвай, чьи-то голоса, собака лаяла через двор. Всё шло своим порядком. Никому не было дела до того, что вчера в подвальной галерее «Апогей» человек с усталым лицом восемью словами перечеркнул два года чьей-то жизни.

Елена медленно повернулась к картинам.

Они занимали почти всю свободную стену — те, что не вошли на выставку, плюс несколько ранних работ, которые она отвергла ещё в процессе. Стояли вдоль плинтуса, прислоенные холстом к холсту, некоторые — лицом к стене, как наказанные. Но три или четыре она видела полностью: Валенсия, Валенсия, снова Валенсия — охра, лазурь, тени на брусчатке, женщина у окна с морем за спиной.

Вчера она смотрела на них как на своих. Сегодня смотрела глазами Лемке.

И это было невыносимо точно — как линза, которую нельзя снять обратно. Она видела теперь то, что он видел: красивые, аккуратные, технически грамотные картины, в которых нет ни одной живой клетки. Свет без источника. Тепло без огня. Море без запаха. Всё правильно и всё — мертво. Как декорация к спектаклю, который так и не начался.

Открытка из провинции.

Женщина на «Пяти часах вечера» смотрела в окно спиной к ней. Раньше Елена думала, что в этой спине — достоинство, ожидание, что-то невысказанное и значительное. Теперь видела просто спину. Спину никого.

На подоконнике лежал нож — тот, которым она иногда зачищала задиры с подрамников. Она посмотрела на него. Потом на картины. Рука не потянулась, но мысль прошла — тихая, почти деловая: *можно было бы, и стало бы легче*. Она убрала нож в ящик стола. Задвинула.

Мать всегда говорила это за ужином.

Не за скандальным — за обычным, когда тарелки на столе, телевизор бормочет в углу и усталость дня уже осела на лице. Тихим, отработанным голосом — голосом человека, который давно не ожидает, что его услышат, но всё равно говорит, потому что это правда и кто-то должен её произносить:

— Рисуй то, что люди хотят видеть, Лена. Не то, что ты чувствуешь.

Елене было четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать — возраст менялся, слова оставались.

— Искусством сыт не будешь.

Она тогда злилась. Злилась тихо, в себя, потому что кричать на мать было нельзя — мать работала на двух работах и приходила домой с таким лицом, что кричать казалось преступлением. Елена уходила в свою комнату, открывала альбом, рисовала — зло, быстро, назло. Доказывала что-то воздуху.

Мать умерла семь лет назад. Сердце — неожиданно и просто, в среду утром.

Иногда Елена думала, что так, пожалуй, честнее: мать не узнала, что дочь рисует открытки из провинции за деньги уборщицы.

Сейчас, стоя у окна с остывшим чаем, она слышала её голос так отчетливо, будто та сидела за столом: *рисуй то, что люди хотят видеть*. И самым страшным было то, что теперь — впервые за все эти годы — Елена не могла ей возразить. Потому что Лемке сказал то же самое, только другими словами. Потому что галерея опустела. Потому что никто ничего не купил.

Может быть, мать знала. Просто знала — как знают то, чего не хочется слышать.

Телефон завибрировал в половину одиннадцатого.

Номер она узнала раньше, чем прочитала имя — «Ядвига Марьяновна» — и на секунду задержала палец над экраном. Отвечать не хотелось. Не отвечать было нельзя.

— Слушаю.

— Елена Сергеевна. — Голос у Ядвиги Марьяновны был как несмазанная дверная петля — острый, скрипучий, без предисловий. — Вы меня, значит, избегаете.

— Я не избегаю. Просто...

— Три месяца, Елена Сергеевна. Не один, не два — три. — Пауза, в которой слышалось хозяйское дыхание и фоновый телевизор. — У меня терпение не казённое, вы понимаете?

— Я понимаю. У меня была выставка, я планировала...

— Выставка. — Это слово Ядвига Марьяновна произнесла с таким звуком, будто попробовала что-то на вкус и выплюнула. — Мне ваша выставка, простите, до лампочки. Мне нужны деньги. До пятницы. Полная сумма.

— Ядвига Марьяновна, у меня сейчас нет полной суммы, я могу частично...

— До пятницы, — повторила та, будто не слышала. — Если до пятницы не будет — я меняю замки. А ваши мазилки — на помойку. У меня есть такое право по договору, можете перечитать пункт четыре.

— Это не мазилки, это —

— До пятницы.

В трубке зашипело и стихло.

Елена опустила телефон на стол. Посмотрела на него. Потом на стену с картинами. *Мазилки на помойку* — фраза легла поверх вчерашней и придавила её, и стало тяжелее вдвойне.

Пятница была через три дня.

Кошелек она вытряхнула на стол не сразу — сначала долго сидела, глядя на него, как будто содержимое могло измениться, если подождать. Потом всё же перевернула.

Монеты рассыпались по столешнице с тем мелким, жестяным дребезгом, который звучит как последняя реплика в неудачном спектакле. Несколько штук покатались к краю — она машинально поймала. Мягкие купюры легли сверху — двести рублей, сто, пятьдесят, еще сто.

Она считала медленно. Красные, потрескавшиеся пальцы перебирали монеты — пятирублёвые, двухрублёвые, одна десятка с обтёртым орлом. Всё это выглядело как натюрморт о конце чего-то. Если бы она рисовала эту сцену — вот эти руки, вот эти монеты, вот этот стол с пятном от кружки и старой газетой в углу — то вышло бы честнее всего, что она написала за два года. Вышла бы живая картина. Только рисовать это значило признать, что это и есть ее жизнь.

Итого: две тысячи сто сорок рублей.

Долг — девятнадцать тысяч.

На Валенсию — ноль.

Она сидела и смотрела на монеты. Где-то за стеной соседи включили телевизор, и оттуда просочился бодрый голос рекламного ролика — что-то про кредит под выгодный процент, про новую жизнь, про то, что всё возможно. Елена встала и прошла к окну — просто чтобы не слышать.

За стеклом был двор. Голубь ходил по мокрому асфальту, деловито и бессмысленно. Детская коляска стояла у подъезда. Всё было обыкновенным и продолжалось без её участия.

Она была заперта. Не метафорически — физически: без денег, без выставки, без покупателей, с долгом в девятнадцать тысяч и тремя днями до того момента, когда её картины выбросят в мусорный контейнер во дворе вот этого дома. Валенсия — не просто мечта, от которой отказались. Валенсия была единственным направлением, в котором она умела двигаться. Теперь и этого не было.

Клетка. Самая настоящая.

Это произошло внезапно — и поэтому было особенно странным.

Елена стояла у окна, держала пустую кружку и думала ни о чём конкретном — просто смотрела во двор тем пустым взглядом, который бывает, когда думать больше не о чем и некуда. И вдруг поняла, что на улице стало тихо.

Не постепенно — сразу. Как будто кто-то накрыл стеклянным колпаком весь квартал. Голубь исчез — она не видела, как он улетел, просто его не стало. Телевизор за стеной смолк. Не выключился — именно смолк, как будто звук вдруг потерял плотность и растворился. Коляска у подъезда стояла на месте, но двор был пустым, и пустота эта была неправильной — слишком полной, слишком намеренной.

Елена медленно опустила кружку на подоконник.

Температура в комнате упала.

Не резко, не как от сквозняка — иначе. Холод пришёл изнутри пространства, как будто воздух сам по себе стал другим. Она почувствовала его на плечах сквозь свитер, на затылке, на тыльной стороне запястий. Встали волосы — сначала на руках, потом вдоль позвоночника, медленно, снизу вверх.

Кто-то смотрел на нее сзади.

Это не было ощущением — это было знанием. Тем самым древним, доречевым знанием, которое живёт в основании черепа и не нуждается в доказательствах. Она стояла у окна, и в спину ей смотрели. Тяжело, неотрывно, с каким-то магнетическим спокойствием — не враж-

дебно, но и не безопасно. Как смотрит тот, кто никуда не торопится, потому что знает — она обернется.

Она обернулась.

Комната была пустой.

Свалявшийся ковёр, стол с монетами, стена с картинами. Старый мольберт в дальнем углу — тот, который она не использовала уже полгода, с засохшими разводами краски на полке. В углу был полумрак — окно выходило на север, и там всегда было темнее, чем у двери.

Никого.

Она стояла и смотрела в этот угол дольше, чем было нужно, чтобы убедиться, что там никого нет. Потому что убедиться не получалось.

Тень от мольберта лежала на стене — и она была неправильной. Не такой, какой должна быть от деревянной конструкции со сложенными ножками. Вытянутой. С плечами. С едва угадываемым наклоном головы — как у человека, который стоит прямо и смотрит на тебя без слов.

Елена не двигалась.

Потом тень качнулась — ровно настолько, чтобы это могло быть случайностью, мог быть ветер за окном, мог быть сдвиг облаков. Могло.

Она сделала шаг назад — и наступила на что-то. Посмотрела вниз.

Монета.

Одна из тех, что она считала на столе, — укатилась. Только это была не та монета. Это она поняла сразу и отчётливо, потому что среди её двухрублёвых и пятирублёвых не было ничего похожего на то, что лежало сейчас под её ногой.

Она нагнулась и подняла.

Тяжёлая. Непривычно тяжелая для своего размера. Золотистая — не как позолота, а иначе, глубже, с тем теплым оттенком старого металла, который бывает у вещей с историей. На одной стороне — профиль, который она не смогла опознать. Буквы по краю — не русские, не латинские, что-то другое. На другой стороне — выгравирована цифра и под ней, очень мелко, почти неразлично:

L. de V.

Елена держала монету двумя пальцами и не могла объяснить себе, откуда она взялась. Не могла — и знала, что не сможет. Потому что её здесь не было. Только что не было. Она пересчитала каждую монету на этом столе, она видела каждую из них.

За окном двор ожил обратно — трамвай прогрохотал вдалеке, голубь появился на асфальте снова, телевизор за стеной снова забормотал рекламу. Всё вернулось на секунды назад, как будто ничего не прерывалось.

Только монета была в её руке.

И угол с мольбертом был просто углом с мольбертом — тень лежала как обычно, никаких плеч, никакого наклона головы.

Елена сжала монету в кулаке. Металл был теплым. Не комнатной температуры — теплее. Как будто её только что держал в руке кто-то другой.

Глава 4. Руки

Заказ она нашла в половине двенадцатого ночи.

Сидела за столом, держала в кулаке странную монету и смотрела в телефон — не читала, просто смотрела, потому что нужно было куда-то смотреть. Потом открыла рабочий чат клинингового агентства. Там всегда висели срочные заказы — те, от которых отказывались другие. Как правило, по понятным причинам.

«СРОЧНО. Апартаменты, Остоженка. После мероприятия. 280 кв. м. Выезд сегодня в 6:00. Оплата наличными по факту. Ставка x2».

Двойная ставка. За двойную ставку обычно брались только когда знали, что там.

Она написала: *Беру.*

Потом положила телефон, легла, закрыла глаза. Поставила будильник на пять. За окном шёл мелкий дождь — тот же, что вчера, или уже новый, не разберешь.

Монету она положила на подоконник. Не убрала в ящик, не выбросила — просто положила и отвернулась.

Засыпая, она думала о Валенсии. Уже не как о мечте — как о математике. Сколько таких заказов нужно, чтобы закрыть долг. Сколько, чтобы купить билет. Сколько, чтобы перестать считать.

Цифры не сходились. Но думать о цифрах было легче, чем думать об остальном.

Дверь открыл управляющий — молодой, помятый, с видом человека, которого подняли с чужого дивана.

— Елена? — Он посмотрел на неё так, будто ожидал кого-то другого или не ожидал никого. — Вас двое будет?

— Одна.

Он помолчал.

— Там... в общем, вы сами увидите. Я на кухне, если что.

Он отступил в сторону, и она вошла.

Увидела — сразу и всё целиком, как видят катастрофу.

Апартаменты были огромными — потолки под четыре метра, панорамные окна от пола до потолка, за которыми в раннем сером свете лежала Москва. Дорогая мебель, дорогой паркет, дорогой белый ковёр в гостиной — или то, что от него осталось. В другой жизни, вчера утром, всё это стоило столько, сколько Елена не заработает за несколько лет. Сейчас это просто была территория разгрома.

Бутылки — везде. «Вдова Клико», «Белуга», что-то еще, с этикетками, которые она не читала. Стоящие, лежащие, разбитые. На столешнице, на полу, в камине, который использовали не по назначению — внутри лежали окурки и чья-то туфля на шпильке. Хрустальные бокалы — несколько целых, остальные в осколках, вмерзших в липкие лужи на паркете. Тарелки с остатками еды: красная икра, засохшая до корки, на белой скатерти, которую кто-то стащил со стола и бросил. Одежда — мужская рубашка на люстре, женское платье у дивана, что-то ещё, ниже, у входа в спальню.

Елена стояла у порога и дышала ртом.

Запах стоял плотный, как стена: алкоголь, духи, дым, что-то кисловатое и органическое под всем этим. Она знала этот запах. Знала его хорошо — он означал, что работы здесь часов на шесть, не меньше, и что первый час будет самым тяжёлым, потому что первый час — это всегда борьба с собственным желудком.

Она поставила сумку. Достала перчатки. Натянула.

Двойная ставка, — сказала она себе. — *Считай.*

И начала.

Сначала — обход и сортировка. Это она умела делать механически, не думая: мусор в пакет, бутылки отдельно, стекло отдельно. Руки работали сами, пока она смотрела чуть выше того, на что не хотела смотреть.

Но в спальне пришлось остановиться.

Постель была разорена до степени, при которой простыни уже не стирают — выбрасывают. На прикроватном столике стоял ещё один бокал, перевернутый, с красным пятном под ним на лакированном дереве. На ковре у кровати лежало несколько использованных презервативов — просто лежало, как мусор, как будто даже до корзины было лень. Рядом — скомканные салфетки, пепел, ещё один окуроч, вдавленный прямо в ворс.

Елена смотрела на это несколько секунд.

Не от шока — она видела разное за три года этой работы. Просто в это утро, после вчерашнего вечера, после Лемке, после Ядвиги Марьяновны, после монет на столе — это зрелище имело другой вес. Чужая вседозволенность была здесь физической, осязаемой: кто-то жил так, что мог оставить после себя вот это — и просто уйти. Не убрать, не почувствовать ни малейшей неловкости. Просто уйти, потому что придёт кто-то другой и уберёт.

Кто-то другой — это она.

Она взяла пакет. Надела вторые перчатки поверх первых. И стала убирать.

Считай, — говорила она себе. — *Не думай. Считай.*

Двойная ставка, двести восемьдесят метров, шесть часов минимум. Если успеет за пять — будет бонус, управляющий намекнул. Сколько это покрывает от долга? Треть. Почти треть. Осталось ещё две трети, и это значит ещё два таких заказа, или три обычных, или

Она перестала считать, потому что цифры снова не сходились.

Кухня была отдельным кругом. Здесь, судя по следам, готовили — или пытались. На плите застыло что-то коричневое и намертво пригоревшее. В раковине горой стояла посуда. На полу — разлитое масло с отпечатком подошвы поверх, чьи-то следы вели из кухни в коридор и обратно, как будто человек несколько раз ходил туда-сюда, не замечая, что несёт масло с собой.

Елена опустилась на колени перед плитой с скребком и тряпкой.

Спина уже ныла — тупо, равномерно, как ноет что-то, что болит давно и привыкло. Колени на кафеле — жёстко. Руки в перчатках — горячо от горячей воды, не чувствуешь пальцев нормально, не чувствуешь, что делаешь, просто механическое движение вперед-назад.

И вот тогда — она не понимала, почему именно тогда, на кухне, на коленях перед чужой плитой — в голове вспыхнуло.

Море.

Не слово — образ. Вода с зеленоватой глубиной, такая, что от неё перехватывает горло. Охристые стены. Тень на брусчатке, короткая и чёрная, полуденная. Запах апельсинов и нагретого камня. Выставка — не та, вчерашняя, подвальная — другая: белые стены, высокие потолки, свет поставлен правильно, и люди стоят перед её картинами и молчат. Молчат так, как молчат перед чем-то настоящим.

Елена продолжала скрести плиту.

Образ не уходил — стоял за глазами ярко, почти болезненно, как смотришь на солнце и потом видишь пятно с закрытыми веками. Она знала этот контраст — знала его телом, потому что это был ее постоянный внутренний пейзаж последних трех лет. Но сегодня он резал иначе. Острее. Потому что вчера Лемке сказал, что та выставка, которую она видела в мечтах — это открытка. Что то, ради чего она ползает на коленях по чужим кухням — пусто.

А что если он прав?

Она почувствовала, как что-то горячее подступает к горлу — не тошнота, другое. Злость. Та злость, которая не кричит, а жжёт — медленно, снизу, как уголь.

Она рождена для большего. Она это знала — не как сомнение, а как факт, который существовал в ней прежде всего остального, прежде неудач и критиков и чужих полов. Она

умеет видеть свет так, как его не видит никто вокруг. Умеет переводить его на холст. В ней это есть — было, есть — и тем не менее вот она: на коленях, в резиновых перчатках, со скребком в руке, в восемь утра, в чужой кухне, которую чужие люди превратили в помойку, потому что могут себе это позволить.

Потому что у них есть деньги, а у неё — нет.

Слезы пришли без предупреждения — беззвучные, злые, совсем не те, что бывают от горя. Она не останавливалась. Продолжала скрести, не меняя темпа, не вытирая лица — руки в перчатках всё равно, а управляющий мог войти в любой момент. Слезы капали на кафель, и она затирала их той же тряпкой, которой мыла пол.

Это не навсегда, — сказала она себе.

Но в этот конкретный момент, на этом конкретном полу, даже она не очень в это верила. Раиса Павловна пришла в начале третьего.

Елена заканчивала гостиную — протирала панорамные окна, последнее, самое долгое. За стеклом лежала Москва в дневном свете, серая и многослойная. Ковёр уже был чистым — почти, насколько возможно, — стол стоял на месте, паркет высыхал после влажной уборки, и в квартире пахло теперь лимоном и озоном, и только если принюхаться — чуть-чуть тем, что было здесь ночью.

Звук ключей в замке.

Елена обернулась.

Женщина была лет шестидесяти — может, чуть больше, может, меньше, из тех людей, чей возраст определяется не морщинами, а манерой держаться. Высокая, прямая, в светлом пальто с поясом. Волосы — серебристые, убраны назад просто и безупречно. Лицо — породистое, с тем выражением спокойного превосходства, которое бывает у людей, привыкших, что пространство подстраивается под них, а не наоборот.

Она остановилась в дверях и посмотрела на квартиру.

Потом на Елену.

— Успели, — сказала она. Не с удивлением, скорее с констатацией факта.

— Почти. Окна заканчиваю.

Раиса Павловна прошла в центр гостиной, огляделась — медленно, внимательно, как осматривают не чистоту, а что-то другое. Подняла с каминной полки статуэтку, поставила обратно. Провела пальцем по столешнице. Кивнула — себе, не Елене.

— Вы давно этим занимаетесь?

— Три года, — сказала Елена. Голос вышел ровным. За три года научилась.

— Три года, — повторила та. — Хорошо.

Что именно хорошо — она не уточнила.

Елена домыла последнее стекло, собрала тряпки, сложила в рабочую сумку. Перчатки сняла, завязала узлом — в мусор. Потянулась за курткой, перекинутой через спинку стула.

Сумка упала.

Не вся — перевернулась набок, и из бокового кармана выскользнул этюдник — маленький, потрепанный, который она таскала с собой повсюду последние два года, сама не зная зачем. Внутри — несколько листов, карандаш, тюбик белил. И один лист отдельно, сложенный вчетверо: беглый набросок, сделанный несколько месяцев назад, масло на бумаге, пятнадцать минут работы. Она тогда стояла у этого же окна — не здесь, у себя — и просто писала, не думая, не контролируя. Небо над городом, но странное — тёмное снизу и прорванное сверху, со светом, который прорывался сквозь тучи почти агрессивно, почти гневно.

Лист упал на паркет лицом вверх.

Раиса Павловна оказалась рядом раньше, чем Елена успела нагнуться. Подняла. Посмотрела.

— Это ваше?

— Да. Извините, я сейчас —

— Подождите.

Что-то в её голосе остановило Елену точнее, чем если бы та взяла её за руку. Раиса Павловна смотрела на набросок — не мельком, не вежливо. Смотрела так, как смотрят люди, умеющие смотреть: всерьёз, не торопясь, как будто читают.

В комнате было тихо. За окном Москва продолжалась без них.

Наконец Раиса Павловна подняла взгляд. Посмотрела на Елену — прямо, без жалости и без похвалы, с каким-то другим выражением, которое Елена не сразу смогла определить. Потом — определила. Это была серьёзность. Такая, которая бывает, когда говорят о чём-то важном и не собираются делать вид, что нет.

— Ты пишешь так, словно боишься собственного таланта, — сказала она.

Елена открыла рот — и закрыла.

— Перестань бояться. — Раиса Павловна протянула ей лист. — Или тебя найдут те, кто этим воспользуется.

Тишина длилась секунду, две, три.

— Что это значит? — спросила Елена.

Раиса Павловна уже шла к окну — спокойно, с той же прямой спиной, как будто разговор был окончен и она сама решила, когда именно.

— Это значит то, что значит, — сказала она, не оборачиваясь.

Управляющий появился из кухни с конвертом — молча протянул. Елена взяла. Убрала в куртку, не считая: посчитает на улице.

Набросок она сложила обратно вчетверо и спрятала глубоко в сумку.

На улице было холодно и ветрено — тот резкий, сырой ветер, который в Москве бывает в конце мая, когда весна вдруг вспоминает, что еще не закончила с зимой. Елена шла и не чувствовала ног — не от холода, от усталости. Спина болела ровно и упрямо. Руки, даже без перчаток, ощущались чужими — слишком разработанными, слишком отработавшими свое на сегодня.

В конверте оказалось на треть больше, чем она ожидала.

Она остановилась у стены дома, пересчитала, убрала обратно. Этого хватит, чтобы Ядвига Марьяновна не меняла замки в пятницу. На неделю — не больше. Потом нужно снова.

Она пошла дальше.

Тебя найдут те, кто этим воспользуется.

Фраза не отпускала. Была в ней какая-то структура, которую хотелось разобрать — как разбирают механизм, чтобы понять, как работает. *Найдут* — то есть она сама не ищет, или ищет не там. *Воспользуется* — это угроза или предупреждение? Или и то и другое? Откуда эта женщина вообще знала что-то про страх? По одному наброску, по пятнадцати минутам работы?

Или именно по ним.

Елена вспомнила, как писала этот набросок. Стояла у окна поздно ночью, в свитере, не думая ни о выставках, ни о Валенсии, ни о том, что получится. Просто смотрела на небо и переносила на бумагу то, что видела — не то, что хотела увидеть, не то, что красиво, а то, что было: тёмное, рваное, со светом, который прорывается и почти злится на что-то. Пятнадцать минут. Не картина — след настроения.

И именно это Раиса Павловна держала в руках дольше всего.

Не Валенсию. Не охру и лазурь.

Это.

Город вокруг неё был вечерним — огни зажигались, люди шли по своим делам, из кофейни на углу тянуло запахом, от которого Елена поняла, что не ела с утра. Она шла и

думала, и слова возвращались снова и снова, как возвращается мелодия, которую не просила запоминать:

Найдут те, кто воспользуется.

Монета лежала у нее дома на подоконнике. Тёплая. Тяжелее, чем должна быть.

L. de V.

Она не знала ещё, что кольцо уже закрывается. Что завтра будет не похоже на сегодня. Что следующий человек, который посмотрит на её работы, сделает это совсем иначе — не так, как Лемке, и не так, как Раиса Павловна.

Совсем иначе.

Но это — завтра.

Сейчас она просто шла по вечерней Москве с болью в спине и деньгами в кармане, и в голове набатом, ровно и неотступно: *перестань бояться. Перестань бояться. Перестань бояться.*

И она не знала ещё — то ли это обещание, то ли предупреждение.

Глава 5. Эхо и стены

Деньги лежали в кармане куртки — плотная пачка, перехваченная аптечной резинкой. Елена нащупала её пальцами каждые несколько минут, пока ехала в метро. Не потому что боялась потерять. Просто хотела убедиться, что всё это не приснилось: и вилла в Строгино, и мертвая герань на подоконнике, и старуха в кресле, которая смотрела на неё так, будто видела насквозь — до самого дна, где уже давно ничего не было.

Вагон качался. Напротив дремал мужчина в оранжевом жилете дорожника, уронив подбородок на грудь. Рядом девочка лет семи листала планшет, и с экрана доносилась тонкая мультяшная музыка. Обычный вечер. Обычные люди, у которых есть куда ехать.

Елена смотрела в тёмное стекло на своё отражение и думала: деньги есть. Хозяйка не выселит. Можно выдохнуть.

Но выдыхать было нечем. Внутри было что-то холодное и неподвижное — не боль, не страх, а именно пустота. Та особенная пустота, которая бывает, когда долго ждёшь чего-то важного, а потом перестаёшь ждать, и место, где раньше жила надежда, просто остаётся пустым. Незаполненным. Гулким, как комната без мебели.

Коммуналка встретила её привычным запахом — чужой еды, старых труб и той особой затхлости, которая накапливается в домах, где слишком много людей живут слишком близко друг к другу. Елена прошла по коридору, кивнула Серёже с третьей комнаты — он курил прямо в коридоре, стряхивая пепел в консервную банку — и закрылась у себя.

Восемь метров. Окно во двор-колодец. Кровать, стол, этажерка с книгами, которые она перестала читать год назад. И холст на подрамнике у стены — начатый в марте, так и не законченный. Женщина у моря. Вода на нём была настоящей, живой, Елена потратила на неё три сеанса. Но лицо так и осталось белым пятном — она не знала, какое выражение ему дать.

Она не включила свет. Сидела на кровати в пальто и смотрела на этот белый овал в темноте.

Деньги куплют еще один месяц в этой комнате. Еще тридцать дней, за которые ничего не изменится. Валенсия не стала ближе ни на километр. Скорее наоборот — отодвинулась куда-то за горизонт, туда, куда отодвигаются вещи, в которые перестаёшь верить. Сначала — чуть дальше. Потом — совсем.

Утром позвонила хозяйка мастерской.

Голос у нее был ровный и немного виноватый — так говорят люди, которые приняли решение заранее и теперь просто сообщают факт.

— Лена, ты же понимаешь, я не могу больше ждать. Три месяца — это три месяца. Я меняю замки в пятницу. Твои вещи нужно забрать до четверга.

— Да, — сказала Елена. — Я поняла.

— Мне жаль. Правда. Твои работы...

— Не надо. Хорошо?

Пауза. Долгая, неловкая.

— Хорошо, — сказала та тихо и повесила трубку.

Елена ещё минуту держала телефон в руке. Смотрела в стену. Ждала, что что-то почувствует — злость, обиду, хотя бы облегчение от того, что всё наконец определилось. Но не чувствовала ничего. Только снег за окном — мокрый, равнодушный — медленно оседал во двор-колодец, и это было единственное движение во всём мире.

В мастерской пахло льняным маслом и скипидаром — запах, который она когда-то любила больше любых духов. Сейчас он казался чужим. Или она сама стала чужой в этом пространстве — среди чужих мольбертов, чужих подрамников, чужого света из высоких окон.

Свои холсты она складывала молча. Двадцать три штуки — итог двух лет работы, всё, что не забрали с выставки. А с выставки не забрали ничего, потому что никто ничего не купил. Люди приходили, смотрели вежливо, как смотрят на чужие семейные фотографии, и уходили. Никто не спросил цену. Никто не задержался дольше, чем из приличия.

Большие форматы она заворачивала в пузырчатую плёнку, маленькие укладывала в картонные коробки, переложив газетами. Руки действовали сами, голова была пустой — и это было почти хорошо, потому что когда голова включалась, становилось хуже.

На стене ещё висел ее набросок — углём, быстрый, сделанный в какой-то особенно хороший вечер, когда она думала, что всё получится. Что нужно только работать. Что талант — это не вопрос, а данность, и достаточно просто не останавливаться. Женщина, запрокинувшая лицо к свету. Елена сняла его, свернула в трубку. Потом подумала и положила в мусорную корзину.

Постояла.

Вытащила обратно.

Сунула под мышку и вышла, не оглядываясь, потому что если оглянуться — то можно не уйти.

Картонные коробки намокли еще во дворе.

Снег шел не переставая, мелкий и равнодушный, и картон впитывал воду с какой-то торопливой готовностью — будто давно ждал повода расползтись. Елена шла через серый двор, прижимая к себе коробку, и чувствовала, как та теряет форму прямо в руках. Одна начала складываться снизу, и она еле успела подхватить её коленом, не давая холстам упасть в слякоть.

Вот так и живёшь, подумала она. Подхватываешь. Придерживаешь. Не даешь упасть — из последних сил, коленом, локтем, зубами. А потом смотришь на свои руки и не понимаешь: зачем?

Ира встретила её у подъезда — вышла выбросить мусор и увидела Елену с горой коробок и выражением лица человека, который уже не старается делать вид, что всё нормально.

— Ты что, одна это тащишь? — сказала она без предисловий. — Давай сюда.

— Не надо, я сама.

— Давай сюда, я сказала.

Ира была маленькая, плотная, с крашенными хной волосами и манерой говорить обо всём прямо — не из грубости, а потому что считала экономию слов признаком уважения к собеседнику. Они жили в этой коммуналке одновременно уже полтора года, и Елена не могла сказать, что они подруги. Но Ира была из тех людей, на которых можно положиться без объяснений — просто потому что они есть, и этого достаточно.

Они затащили коробки в два захода. В узком коридоре пришлось протискиваться боком.

— Куда? — спросила Ира.

— Ко мне.

— Лена, у тебя же...

— Ко мне, Ира.

На кухне Ира поставила чайник, не спрашивая. Елена сидела за столом и смотрела на свои руки — покрасневшие от холода, с тёмными полосками въевшейся краски под ногтями, которую никогда до конца не отмыть. Художник. Смешно.

— Ну, — сказала Ира, доставая кружки. — С деньгами разобралась?

— Разобралась.

— Хозяйке отдашь?

— Да.

— Ну и хорошо. — Ира разлила кипяток, бросила пакетики с точностью человека, привыкшего к точности. — Значит, крышу не потеряешь. Это уже что-то.

— Ира, — сказала Елена. Голос получился странным — ровным, почти спокойным, и от этого спокойствия почему-то стало страшно. — Я уборщица, которая умеет пачкать холсты.

Ира подняла глаза.

— Выставка провалилась. Никто ничего не купил. Даже не спросил цену. Люди приходили, смотрели и уходили — как в автобусе смотрят в окно. — Она помолчала. — Моё искусство никому не нужно. Я никому не нужна.

Последнее слово она не собиралась произносить вслух. Оно вышло само — тихо, без интонации, и именно поэтому прозвучало как правда.

Ира не стала говорить «не выдумывай» или «ты просто устала» — за что Елена была ей признательна. Она помолчала, грея ладони о кружку, потом спросила:

— Ты сейчас про искусство говоришь или про что-то другое?

— Я не знаю, — честно ответила Елена. — Наверное, про одно и то же.

Ночью она стояла посреди своей комнаты и не могла войти.

То есть физически — вошла. Но встала у двери и не могла сделать шаг внутрь, потому что внутри не осталось пространства.

Коробки с холстами занимали всё. Они стояли у стены, у кровати, под столом, громоздились друг на друга — мокрые, отяжелевшие, с тёмными пятнами на картоне. Двадцать три холста, которые она писала в убеждении, что они кому-то нужны. Что их кто-то увидит. Что однажды один из них повесят на стену — не её стену, не эти восемь метров, а другую стену, в другом доме, где живут люди, у которых есть место для красоты.

Валенсия. Она думала об этом три года — сначала как о мечте, потом как о плане, потом как о чём-то, что просто случится, если работать достаточно упорно. Коммуналка — временно. Уборка чужих квартир — временно. Долги — временно. Всё это была цена билета в другую жизнь, где она стоит у полотна в мастерской с высоким потолком, а за окном — свет, которого так мало в этом городе.

Теперь временное стало постоянным. Она просто не заметила, когда это произошло. Наверное, не было никакого конкретного момента — просто однажды утром проснулась, и всё уже было именно так. Навсегда.

Перестань бояться — или тобой воспользуются.

Слова Раисы Павловны возникли сами, без приглашения. Старуха говорила это про что-то другое — или про то же самое? Какой страх? Что выставка провалится? Она и так провалилась — страх не помог, не защитил, не предотвратил. Или страх был глубже — что она окажется именно тем, чем сейчас и является: человеком с мечтой, которая не сбылась, потому что на это не хватило чего-то важного. Таланта. Права. Чего-то, чему нет названия, но что у других есть, а у неё — нет.

Раньше она думала, что провал будет концом одного этапа и началом другого. Что будет больно, но понятно. Художники так и живут: провал, переосмысление, новая попытка. Она читала об этом, верила в это.

Но сейчас не было никакого «попробую иначе». Было только ощущение, что ящик с инструментами пустой — и был пустым всегда, а она просто не смотрела внутрь. Боялась увидеть.

Может, Раиса Павловна была права. Может, страх — это и был её единственный настоящий талант.

Елена прислонилась спиной к двери.

Идти некуда. Лечь — нигде. Дышать — нечем: воздух в комнате был густым от сырости и запаха мокрого картона.

Она достала монету.

Просто так — рука сама нашла её в кармане. L и V. Буквы, которые ничего ей не говорили, но она так и не выбросила ее после той встречи. Носила. Как носят камень с пляжа —

без причины, просто рука не разжимается, и непонятно, то ли ты держишь его, то ли он держит тебя.

Металл был теплым. Или ей казалось.

В углу, за коробкой с большими форматами, мигнул свет — уличный фонарь за окном качнулся от ветра, и тень качнулась вместе с ним. Обычная тень. Елена смотрела на неё и не двигалась.

Тень была слишком высокой.

Не фонарь. Не ветка. Силуэт — вертикальный, четкий по краям и одновременно не совсем настоящий, как бывает, когда смотришь на что-то боковым зрением и оно есть, а когда поворачиваешь голову — его нет.

Она повернула голову.

Угол был пустым.

Но запах остался — секунду, две, три. Что-то дорогое и сдержанное, не одеколон из аптеки. Так пахнет человек, который знает, сколько стоит его время, и не тратит его зря. Человек из другого мира. Из того мира, в который она так и не попала.

Монета пульсировала в ладони.

Елена стояла в своей комнате, набитой картинами, которые никто не хотел видеть, и чувствовала, как что-то захлопывается — тихо, без скрипа, как захлопывается хорошо смазанный замок. Не снаружи. Изнутри.

И она не была уверена, что хочет его открывать. И не была уверена, что сможет. И не была уверена, что есть разница.

Глава 6. Точка кипения

Три часа ночи.

Елена сидела на полу, обхватив колени руками, и смотрела на коробки. Двадцать три картины. Завернутые в газеты, перемотанные скотчем, составленные вдоль стен так плотно, что в комнате почти не осталось места для нее самой. Она привезла их домой в два приема — через весь город, в метро, прижимая к себе, как что-то живое. В вагоне кто-то смотрел. Она улыбалась. Она всегда улыбалась в такие моменты — это был уже рефлекс.

Лампочка под потолком мигала через равные промежутки. Раз в несколько секунд. Хозяйка давно обещала вкрутить новую.

Елена больше не напоминала.

За стеной кто-то из соседей чуть слышно говорил по телефону — низкий бубнящий голос, слов не разобрать. Потом замолчал. Потом скрипнула кровать, и стало совсем тихо. Коммуналка спала. Весь город, кажется, спал. Только она сидела здесь, в этом маленьком пространстве между коробками, и чувствовала, как внутри медленно, неотвратимо что-то закипает.

«Перестань бояться», — сказала вдова.

Елена закрыла глаза.

Перестань бояться. Как будто это просто. Как будто страх — это решение, которое можно принять или отменить. Вдова говорила это легко, с той уверенностью людей, которые давно уже стоят на твердой земле и не помнят, каково это — чувствовать, как она уходит из-под ног. Елена кивала и благодарила. Она всегда кивала и благодарила. Еще один рефлекс.

Выставка.

Она не хотела об этом думать — и думала. Четыре месяца подготовки. Четыре месяца ранних подъемов, поздних ночей, дополнительных смен в клининге, экономии на всём, на чём только можно. Рамы, стенд, транспортировка — почти шесть тысяч, взятых у Иры с униженным *«верну как смогу»*. Ира дала без разговоров, просто протянула конверт, и это было мучительнее, чем если бы она отказала.

Итог: ноль.

Ноль продаж. Два человека сфотографировали работы на телефон, не спросив. Куратор в конце сказал что-то про *«интересный поиск»* голосом человека, который говорит *«не то»*. И тот молодой человек в очках, который долго стоял перед «Валенсией» — она видела его краем глаза и не смотрела в упор, суеверно, как на огонь, — он стоял долго, а потом просто ушёл.

Просто ушёл.

Она смотрела ему в спину и улыбалась.

Никому не нужна.

Мысль пришла тихо, без драмы — просто осела, как оседает пыль. Не картины — она. Она сама, с этим своим упрямым желанием что-то значить, что-то оставить, быть увиденной. Восемь лет она несла это внутри — эту тихую, почти стыдную веру в то, что однажды кто-нибудь посмотрит на ее работу и *почувствует*. Не просто пройдёт мимо. Не фотографирует и не уйдёт. А остановится и почувствует то, что она вкладывала — все эти ранние утра, все эти ночи, всю эту любовь, которую больше некуда было деть.

Восемь лет.

Она произнесла это про себя медленно.

Восемь лет.

И что?

Елена почувствовала, как горло сжимается. Не от слёз — от злости. От той острой, жгучей злости, которую она так долго заворачивала в вежливость, в улыбки, в *«ничего, в следующий раз»*. Злость на выставки, которые ничего не меняют. На людей, которые смотрят и уходят. На куратора с его *«интересным поиском»*. На вдову с советами о страхе. На Иру, которая даёт деньги молча и тем самым делает долг невыносимым. На себя — за то, что верила. За то, что продолжала верить так долго, дольше, чем нужно, дольше, чем умно.

Хватит.

Слово возникло в голове не громко — просто твёрдо. Как захлопнутая дверь.

Хватит. Всё. Пошло оно всё к чёрту.

Творчество не кормит. Искусство никому не нужно. Это не трагедия — это просто факт, который она слишком долго отказывалась принять. Завтра утром она сложит кисти в ящик. Краски туда же, под кровать, с глаз долой. Холсты пусть стоят — может, Ира возьмёт, может, она выбросит, может, они будут стоять здесь вечно и пылиться. Ей всё равно. Она больше не потратит на это ни рубля, ни часа, ни капли себя.

Она будет просто работать. Копить. Когда-нибудь снимет нормальную квартиру. Может, купит себе что-нибудь красивое просто так — не холст, не краски, а что-нибудь настоящее, ненужное, бессмысленное. Потому что может.

Людам так живётся. Большинству людей — именно так. И им нормально.

Значит, и ей будет.

Когда-нибудь.

Она почти поднялась.

Холст стоял в углу за крайней коробкой.

Последний чистый. Некупленный толком, с наспех нанесённым грунтом, который она откладывала «на потом» уже три месяца. Небольшой, где-то шестьдесят на восемьдесят. Ждал.

Елена смотрела на него секунду.

Потом что-то в ней — не разум, не решение, что-то глубже и старше — шагнуло вперёд.

Она не помнила, как взяла его в руки. Не помнила, как поставила у стены — не на мольберт, прямо на пол, прислонила к плинтусу. Не помнила, как открыла краски. Просто вдруг уже сидела перед ним на коленях, и кисть была в руке, и внутри горело что-то такое горячее и такое отчаянное, что она не могла не начать.

Один раз, — сказала она себе. — *Последний. Лебединая песня — и всё.*

Она набрала ультрамарин.

И ударила по холсту.

Не мягко — *ударила*. Широко, резко, от плеча, так что краска легла толстым неровным гребнем. Потом ещё раз. Ещё. Море возникало из этих ударов само — живое, тёмное, с белыми гребнями, которые она выбивала мастихином, прижимая лезвие к холсту и слыша этот острый царапающий звук — *вжик*, *вжик* — который всегда чуть пробирал мурашками. Запах растворителя ударил в нос резко, почти сладко — скипидар и олифа, запах, который она знала с семнадцати лет, который был для неё запахом дома больше, чем любой другой.

Небо она размазывала пальцами.

Набирала белила прямо ладонью — холодная жирная краска под ногтями, в складках суставов — и растирала по холсту, вбивала в поверхность, пока не получался тот особый эффект: выгоревший полдень, когда синева истончается до прозрачности и небо становится почти белым от жара.

Она никогда не была в Валенсии.

С пятнадцати лет она знала её только по фотографии в старом журнале — выгоревшие страницы, набережная, белые стены, море. Она тогда долго держала журнал в руках и думала: *вот там*. Вот там, на этой воображаемой террасе, в этом воображаемом свете она бы жила.

Каждое утро просыпалась бы с этим видом и писала — просто писала, без выставок, без кураторов, без унижительного *«интересного поиска»*.

Эта терраса жила в ней столько лет, что стала реальнее любой настоящей.

Она писала её сейчас — лихорадочно, агрессивно, нежно. Перила мастихином, три точных линии, — и они вышли живыми, каменными, тёплыми. Тень от перил на полу — узкая охровая полоска, растёртая большим пальцем. Горшок с цветами в углу — красное пятно, два мазка, и всё, больше не нужно, потому что так и бывает на настоящем юге, там всё немного размыто жарой.

Слёзы она заметила не сразу.

Просто в какой-то момент поняла, что видит холст чуть нечётко, и провела ладонью по лицу — и ладонь стала синей. Охра на щеке. Ультрамарин на лбу. Она не остановилась. Плакала и писала — и не могла сказать, где кончалось одно и начиналось другое.

Она вкладывала в этот холст всё.

Не злость — нет, злость уже куда-то ушла, растворилась в этом физическом, яростном, нежном действии. Осталось что-то другое: все те утра, когда она вставала раньше будильника и садилась рисовать, пока коммуналка ещё спала. Все те вечера с руками, пахнущими чистящим средством, когда она всё равно брала кисть. Все те маленькие надежды, которые она так старательно берегла и которые всё равно ни к чему не привели. Всё это шло сейчас в холст — последний, прощальный, единственный честный.

Вот, море. Вот, терраса. Вот — всё, что у меня было.

Возьми.

Елена опустила кисть, когда за окном уже светало.

Не решила — просто руки остановились сами. Она сидела на полу, в краске по локоть, с засохшими солёными дорожками на щеках, и не двигалась. Скипидар и охра. Мигающая лампочка.

Потом подняла глаза на картину.

И замолчала.

Не внутри — снаружи она и так молчала. Замолчало что-то глубже. То самое, что восемь лет ныло и сомневалось и спрашивало *а вдруг ты не умеешь* — оно вдруг замолчало тоже.

Потому что она умела.

Это было неоспоримо. Это было страшно и горько и совершенно неоспоримо. Валенсия смотрела на неё с холста — живая, настоящая, полная того самого тяжёлого золотого света, который она придумала в пятнадцать лет по старой фотографии. Море дышало. Перила бросали тень. Воздух был горячим и пряным, и Елена почти чувствовала его — здесь, в двенадцатиметровой комнате с мигающей лампочкой.

Это был шедевр.

Она знала это с той же простой очевидностью, с какой знают, что на улице холодно или что уже утро. Без сомнений, без оговорок. Лучшее, что она написала за всю жизнь. Может быть — лучшее, что она напишет.

И оно останется здесь.

Будет стоять у стены рядом с другими коробками. Пылиться. Никто его не увидит, никто не купит, никто не почувствует того, что она вложила, — все те слёзы и утра и ночи. Просто холст в пустой комнате.

Елена закрыла лицо руками.

Плакала долго. По-настоящему, без красоты — некрасиво, горько, со всхлипами. Плакала о том, что умеет и что это ничего не значит. О том, что любит это больше всего на свете и что именно поэтому надо остановиться. О несправедливости мира, такой огромной и такой обычной, что даже злиться на неё было невозможно — только плакать.

Потом — перестала.

Просто перестала, как иссякает дождь.

Встала. Нашла на столе листок — обратная сторона квитанции из прачечной. Взяла ручку. Писала стоя, не садясь, почти не думая:

*«Я больше не художница. С искусством покончено». *

Положила листок на стол.

Рядом лежала монета. Та самая — тёмный металл, буквы L и V, которую она нашла неделю назад и всё не могла выбросить. Она смотрела на неё секунду, потом отвела взгляд.

Всё.

Можно лечь спать.

Холод пришёл внезапно.

Не сквозняк — не было ни открытого окна, ни щели в двери. Просто температура упала сразу, резко, на несколько градусов — Елена почувствовала его сначала на мокрых щеках, как прикосновение чужих ладоней, потом на руках, потом везде. По коже пошли мурашки. Она замерла.

Воздух изменился.

Стал другим — плотным, как перед грозой, когда давление меняется и уши слегка закладывает. Запах скипидара исчез. Вместо него появилось что-то старое, тяжёлое — запах закрытого пространства, куда давно не входили, и вот кто-то вошёл.

Елена медленно опустила глаза на монету.

От неё шёл дымок.

Тонкая нить — почти невидимая, почти прозрачная — поднималась от металла вертикально вверх и растворялась прежде, чем достигала потолка. Не горение. Не пар. Что-то, для чего не было слова.

Буквы L и V на потемневшем металле казались теперь глубже. Отчётливее.

Елена не двигалась. Не дышала.

И тогда — в дверь постучали.

Три удара. Ровных, тяжёлых, уверенных — как у человека, который не сомневается, что ему откроют. Которому незачем сомневаться.

Монета дымилась.

Воздух давил на плечи.

Елена стояла посреди своей маленькой комнаты, в краске по локоть, с запиской на столе, и смотрела на дверь.

Стук повторился.

Глава 7. Адриан

Стук повторился.

Не громкий — но такой, что от него что-то сдвинулось в воздухе. Словно кто-то постучал не в дверь, а прямо в грудную клетку, туда, где ещё часом раньше что-то живое билось и рвалось, а теперь лежало тихо, как прибитое.

Елена стояла посреди комнаты. Ноги были босые, пол холодный. Она не помнила, как опустилась на него — после того как всё закончилось, после того как она сложила последний холст лицом к стене и сказала себе: *всё*. Теперь она стояла, и волосы у неё были спутаны, и на запястье — след от засохшей краски, бурой, похожей на кровь.

Три часа ночи. Кто стучит в три часа ночи?

Она не испугалась. Это было странно — не испугаться. Позже она будет думать об этом: почему не испугалась? Может, потому что бояться уже было нечем. Страх — это тоже роскошь, требующая ресурса. А ресурс кончился.

Она подошла к двери и открыла её.

Он стоял в полутьме коридора так, словно коридор был выстроен специально для него.

Высокий. В темном пальто из такой ткани, которую не покупают — которую наследуют. Лицо — не то чтобы идеальное в смысле симметрии, нет, куда страшнее: *выразительное* так, что глаз не мог уйти. Скулы, надломленные с легким высокомерием. Тёмные глаза — не карие, не чёрные, а именно тёмные, как вода в колодце, куда долго смотришь и перестаёшь понимать, где заканчивается отражение. Волосы зачесаны назад небрежно, с той особой небрежностью, которая стоит дороже любой тщательности.

И — тепло. От него шло тепло, как от камина, как от июльского асфальта, как от чего-то живого и древнего одновременно. В её комнате последние часы было холодно — она не замечала, пока он не появился на пороге и температура не изменилась.

— Елена, — сказал он.

Не вопросительно. Не утвердительно. Просто — *произнёс*, как ставят точку в конце предложения, которое уже написано.

Голос был такой, что она почувствовала его не ушами, а где-то глубже. Бархатный, чуть хриплый у основания, с призвуком — не акцента даже, а какой-то иной тональности, как будто он привык говорить на других языках и этот выучил последним, зато выучил до совершенства.

— Кто вы? — спросила она.

— Адриан, — ответил он и шагнул внутрь.

Он не спросил разрешения. Но сделал это так — с такой абсолютной естественностью, как будто вопрос о разрешении был категорией, к которой он не имел отношения, — что она не возразила. Он прошёл мимо неё, и от него пахло чем-то тёплым, древесным, с едва уловимой горечью смолы. Она обернулась.

Он уже стоял перед холстом.

Тем самым. Последним.

Она написала его сегодня ночью — вернее, не написала, а *вылила* на него всё, что осталось. Тёмный, жестокий, почти нечитаемый: фигура, распятая не на кресте, а на пустом пространстве, вокруг — ни неба, ни земли, только цвет, больной и честный. Это была не картина. Это было прощальное письмо.

Адриан смотрел на него молча.

Долго. По-настоящему долго — не вежливые десять секунд, которые люди дают искусству перед тем как сказать «интересно», а настоящее, сосредоточенное, почти жестокое внимание.

Елена стояла за его спиной и не знала, что делать с руками.

— Ты написала её сегодня, — сказал он наконец. Не спросил.

— Да.

— Она последняя.

— Да.

Он повернулся. И посмотрел на неё так, что она почувствовала себя холстом — тем самым, — на который смотрят честно, насквозь, без снисхождения.

— Почему, — произнёс он тихо, — ты прячешь это?

— Потому что это никому не нужно, — сказала она. Слова вышли ровно, без дрожи. Она уже выплакала дрожь.

Он покачал головой — медленно, с легким наклоном, как человек, услышавший ответ, который предвидел и всё равно находит печальным.

— Нет, — сказал он. — Ты прячешь это, потому что боишься, что кто-нибудь увидит — и всё равно не поймёт. Это другое. Это гораздо хуже.

Она открыла рот. Закрыла.

— Откуда вы...

— Садись, Елена.

И снова — не приказ. Просто констатация того, что сейчас произойдет. Она села на подоконник — единственное свободное место, не заваленное скомканными набросками, — и он опустился в ее единственное кресло, закинул ногу на ногу, и в этом жесте было столько собственности, что она почти улыбнулась. Почти.

— Расскажи мне про фигуру, — сказал он, кивнув на холст.

— Это я.

— Я понял. Расскажи.

Она смотрела на него. Он ждал. И в этом ожидании не было ни нетерпения, ни снисходительности. Он ждал как человек, у которого есть время — всё время мира, сколько понадобится.

— Она висит, — начала Елена медленно. — Не падает и не летит. Просто висит в пустоте. Потому что... я не знаю, куда падать. Не знаю, что держит. Не знаю, есть ли вообще верх и низ.

— И пространство вокруг неё — не враждебное. Просто равнодушное.

Она посмотрела на него резко.

— Да, — сказала она. — Именно.

— Равнодушие больше враждебности. Враждебность хотя бы видит тебя. — Он смотрел на холст. — Ты написала пустоту не черной. Ты написала её синей. Почти синей. Это точнее.

Елена почувствовала что-то странное в горле. Сжатие. Как будто кто-то аккуратно взял её за что-то внутри и чуть потянул.

За семь лет — *семь лет* — ни один человек не сказал ей про синий. Мать говорила: «мрачно». Галерейщик говорил: «не рыночно». Бывший — тот, что ушел в феврале, — говорил: «непонятно». А этот незнакомец, вошедший в три часа ночи без приглашения, увидел синий.

— Кто вы? — спросила она снова. Иначе. Уже иначе.

Уголок его рта слегка поднялся. Не улыбка — намек на нее. Намек, который стоил больше, чем открытая улыбка другого человека.

— Я тот, кто смотрит, — сказал он просто.

Они говорили.

Она не могла потом восстановить точную последовательность — как не восстанавливают сон, только ощущение после. Он спрашивал — и спрашивал не то, что спрашивают обычно. Не «где ты училась» и не «в какой технике работаешь». Он спрашивал: *что ты слышишь, когда тишина становится невыносимой?* Он спрашивал: *какой цвет ты ненавидишь и почему ты всё равно к нему возвращаешься?* Он спрашивал: *когда ты в последний раз писала не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а просто потому что иначе не могла?*

И она отвечала.

Это было похоже на то, как вскрывают нарыв — больно и одновременно такое облегчение, что перехватывает дыхание. Слова выходили из неё такими, какими она никогда не позволяла им выйти. Без фильтра вежливости, без брони иронии. Просто — правда, сырая и некрасивая.

Он слушал. По-настоящему слушал — глазами тоже, не только ушами. И в определённый момент она поняла, что чувствует себя *видимой*. Не оцененной, не одобренной — именно *видимой*, как видят вещи при хорошем свете, без прикрас и без теней.

Это было страшнее, чем она ожидала.

— Ты говоришь, что хоронишь талант, — сказал он в какой-то момент. Он встал и снова подошёл к холсту — ходил по комнате легко, как человек, которому не бывает тесно ни в каком пространстве. — Но ты хоронишь не талант. Ты хоронишь свидетеля.

Она не поняла.

— Твои картины — единственные, кто знает, что ты существуешь по-настоящему, — сказал он, не оборачиваясь. — Не та Елена, которая платит за коммуналку и улыбается на работе. Настоящая. И ты решила убить единственного свидетеля, потому что мир его игнорирует. — Пауза. — Это не смирение. Это акт отчаяния.

— Или акт здравомыслия.

— — Нет. — Он обернулся. И в его голосе не было жёсткости, но была абсолютная уверенность, которая хуже жёсткости. — Здравомыслие — это когда выбираешь из двух существующих вариантов. Ты же выбираешь смерть, потому что не видишь третьего.

— А он есть?

Он смотрел на неё. Долго. Тепло от него шло ровное, стабильное — не жаркое, не обжигающее, а именно такое: *обволакивающее*, как южный воздух у моря, когда ложишься на камни в сумерках и чувствуешь, что земля отдаёт накопленный за день зной.

— Есть, — сказал он.

Он говорил не торопясь.

О том, что существуют места — не метафорически, буквально — где её работы будут поняты. Где вопрос «не рыночно ли это» не задают, потому что рынок для некоторых вещей — слишком маленький инструмент оценки. О мастерской с северным светом, о тишине, которая не давит, а держит. О том, что её нищета — не судьба и не расплата за талант, а просто неправильно выбранное место.

— Весь мир слеп к тому, что ты делаешь, — сказал он. — Не потому что ты плохой художник. А потому что слепота — их состояние по умолчанию. Ты не обязана с этим мириться.

— И что вы предлагаете? — спросила она осторожно.

— Я предлагаю тебе перестать хоронить себя здесь, — сказал он, — и начать жить там, где тебя ждут.

— Кто ждёт?

— Я.

Слово упало просто, без театральности. И именно поэтому попало точно.

Елена смотрела на него. Потом встала — не потому что нужно было встать, а потому что сидеть стало невозможно. Подошла к окну. За стеклом — ранние синие сумерки, которые бывают только в самом конце ночи, когда тьма уже сдаётся, но свет ещё не пришёл. Промежуток. Ничьё время.

— Это ловушка, — сказала она тихо.

— Всё что угодно может быть ловушкой, — ответил он у неё за спиной. — Вопрос в том, что внутри. Иногда внутри — то, чего ты хотела всю жизнь.

Она почувствовала его близость прежде, чем услышала шаг. Он подошёл и встал рядом — не вплотную, нет, оставил пространство, ровно столько, чтобы она чувствовала тепло, но не прикосновение. Это было хуже прикосновения. Это было *приглашением*.

— Я не прошу ответа сейчас, — сказал он.

Его голос звучал очень тихо, почти интимно. Она смотрела в окно и видела его отражение — тёмное, чёткое, — и не могла понять, смотрит ли он на улицу или на неё.

— Тогда зачем вы здесь?

— Чтобы ты знала: выбор существует.

Она повернулась. Они стояли близко. Она не отступила.

— Вы очень удобно забываете уточнить, — сказала она, — какова цена этого выбора.

Он смотрел на неё без улыбки. Впервые — серьёзно, прямо, и в этой серьёзности было что-то, от чего у неё кольнуло под рёбрами.

— Цена — твоя готовность наконец позволить себе быть настоящей, — сказал он. — Это не так дёшево, как кажется. Большинство людей не может себе этого позволить.

— А вы думаете, я могу?

— Я знаю, что можешь.

Рассвет пришёл незаметно.

Она не видела момента, когда ночь кончилась. Просто в какой-то момент синева за окном стала чуть светлее, и комната изменилась — стала другой, утренней, обыкновенной. Холст у стены вдруг снова стал холстом, а не приговором.

Адриан взял с подоконника своё пальто — она не заметила, когда он его снял, — и надел. В этом жесте, в том, как он застегнул верхнюю пуговицу, было что-то окончательное.

— Вы уходите, — сказала она. Не вопрос.

— До следующего раза.

— Вы уверены, что он будет?

Он посмотрел на неё — последний раз, долго, так, что она почувствовала это взгляд на коже.

— Ты уже не та, кем была три часа назад, — сказал он. — Это всегда означает следующий раз.

Он прошёл к двери. На пороге остановился и положил что-то на стол — не достал из кармана, просто *положил*, она даже не видела движения.

— Адриан, — позвала она.

Он обернулся.

— Зачем вам это? — спросила она. — По-настоящему. Зачем?

Пауза. Он смотрел на неё с тем выражением, которое она не умела читать и которое поэтому запомнила навсегда.

— Потому что слепой мир — скучный мир, — сказал он. — А ты делаешь его интереснее. И ушёл.

Елена стояла в тишине.

Тепло уходило медленно — комната остывала минуты три, не меньше, как будто он оставил в воздухе что-то физическое. Она стояла и слушала, как затихают его шаги в коридоре, — и не было слышно ни лифта, ни двери подъезда. Просто — тишина.

Она подошла к столу.

Визитка лежала в центре, на чистом месте среди хаоса набросков и засохших тюбиков. Плотная, кремово-белая, с тиснением. Никакого логотипа. Никакого телефона. Никакой должности.

Только имя — *Адриан* — выведенное шрифтом, который она сразу захотела нарисовать: тонким, точным, в котором была одновременно элегантность и что-то острое.

И адрес. Городской, конкретный. Улица, номер дома.

Она взяла визитку в руки. Держала. Перевернула — обратная сторона была пустой.

За окном рассвело окончательно. Где-то внизу прошла первая машина. Мир начинал свой обыкновенный день — с его обыкновенными требованиями, обыкновенной слепотой, обыкновенной нищетой, упакованной в расписание.

Елена подошла к холсту и долго смотрела на него. Фигура в синей пустоте смотрела обратно.

Потом она взяла визитку и положила её во внутренний карман пальто, висящего на крючке у двери. Туда, где обычно хранят то, что не хотят потерять.

Она не приняла никакого решения.

Но её мир был уже другим — как бывает другим небо после грозы: то же самое небо, те же очертания, но воздух изменился, и ты дышишь иначе, и обратно не получится.

Елена села на пол — прямо так, по-детски, скрестив ноги — и открыла новый альбом.

И начала рисовать.

Глава 8. Билет

Конверт лежал на кухонном столе.

Елена не открывала его уже минут пять. Просто стояла, держала в руках — плотный, кремового цвета, без марки, без обратного адреса — и чувствовала, как бумага слегка нагревается от её пальцев.

Курьер был странный. Молодой парень в тёмно-синей куртке, с наушником в ухе — обычный, ничем не примечательный, — но когда она открыла дверь, он уже протягивал конверт, не спрашивая ни имени, ни подписи.

— Вам, — сказал он. Не «Елене Соколовой», не «получательнице». Просто «вам».

— От кого? — спросила она.

Он уже разворачивался к лестнице.

— Не знаю. Работа такая.

Она хотела крикнуть вслед, спросить ещё что-то, но дверь подъезда уже хлопнула. Остался только запах — лёгкий, почти неуловимый. Не одеколон. Что-то другое. Горьковатое, как смола старого дерева.

Она вскрыла конверт над столом.

Билет выпал первым. Она подхватила его — тонкий, глянцевый листок с логотипом авиакомпании. Москва — Мадрид. Завтра. Вылет в 14:40.

На её имя.

Потом записка. Небольшой прямоугольник плотной бумаги, почти карточка. Три слова, написанные от руки — уверенно, без нажима, как будто автор не торопился и никогда не торопится:

«Я знал, что ты позвонишь. — А.»

Елена поставила чайник. Просто потому что нужно было что-то делать руками.

Она сидела на табурете у окна и смотрела на билет так долго, что буквы начали расплываться.

Внутри происходило что-то, для чего у неё не было названия. Это не был страх — страх она знала хорошо, это было привычное холодное чувство в животе, когда не хватало денег до конца месяца или когда управляющая звонила с очередным замечанием. Это было что-то другое. Острее. Горячее.

Он знал, что ты позвонишь.

Она набрала его номер утром, почти не думая. Точнее — думая слишком много, и именно поэтому нажала кнопку вызова, пока не передумала. Телефон молчал. Она решила, что ошиблась номером. Что вся ночь в мастерской была дурацким сном, что такие люди не приходят к уборщицам в три часа ночи, что она просто устала и придумала себе —

Но вот билет. Настоящий, плотный, с её именем — *Соколова Елена Александровна* — напечатанным без единой ошибки.

Он знал.

Она взяла телефон и позвонила Ире.

Долгие гудки. Потом — заспанный голос:

— Лен, ты в порядке? Половина одиннадцатого.

— Да, я... — Елена запнулась. — Ир, ты не занята сегодня вечером?

Пауза. Шорох — Ира, видимо, садилась в кровати.

— Что случилось?

— Ничего не случилось.

— Лена.

— Ир, правда —

— Ты своим голосом говоришь «ничего не случилось» так, что сразу понятно: случилось что-то серьёзное. Давай. Я слушаю.

Елена посмотрела на билет.

— Я, кажется, уезжаю. Завтра. В Мадрид.

Долгое молчание.

— Что?

Они встретились в кафе в трёх кварталах от Елениного дома. Ира пришла раньше — уже сидела за угловым столиком с кружкой капучино и выражением лица человека, которого вызвали на допрос.

Ире было тридцать два, она работала в рекламном агентстве, носила яркие шарфы и всегда говорила прямо. Именно поэтому Елена дружила с ней и именно поэтому иногда её избегала.

— Покажи, — сказала Ира, едва Елена опустилась на стул.

Елена положила билет и записку на стол.

Ира взяла записку. Прочитала. Перевернула — на обороте ничего. Взяла билет, изучила. Подняла взгляд.

— Кто такой «А»?

— Адриан. Я рассказывала — он был у меня ночью, в мастерской —

— Погоди. — Ира подняла руку. — Мужчина, которого ты знаешь сутки, прислал тебе авиабилет в другую страну. На завтра. И написал, что знал, что ты позвонишь.

— Да.

— Лена, — сказала Ира очень спокойно, — это не романтика. Это красный флаг размером с дом.

— Я понимаю, как это звучит.

— Ты понимаешь, как это звучит, но собираешься лететь. Я тебя знаю.

Елена обхватила кружку обеими руками. Чай был горячим, почти обжигал ладони, но она не убирала рук.

— Он говорил о моих картинах, Ир. Не как все. Не «мило» и не «интересная техника». Он... — она помолчала, подбирая слова. — Он говорил так, будто видел то, что я сама в них вкладывала. Понимаешь? Именно то. Не что-то рядом.

Ира смотрела на неё.

— Откуда он вообще взялся? Ночью, в мастерской?

— Не знаю. Я не поняла.

— Ты не поняла.

— Ира, я знаю, как это звучит.

— Нет, — сказала Ира, — ты не знаешь, как это звучит. Потому что если бы знала, ты бы сейчас не сидела с этим выражением лица.

— С каким выражением?

Ира помолчала.

— Как будто ты уже решила.

Она работала с двенадцати.

Апартаменты на Остоженке — четыре комнаты, восемьдесят квадратов, четвёртый этаж с видом на старые московские крыши. Хозяева сейчас были где-то за границей, управляющая Светлана Борисовна передала ключи через консьержа и оставила голосовое сообщение: «Елена, там после гостей, нужно всё тщательно. Особенно терраса».

Елена переоделась в коридоре, достала из сумки тряпки и чистящие средства и встала посреди гостиной.

Апартаменты были красивые. По-настоящему красивые — не той показной красотой, которую делают дизайнеры для продажи, а той живой, в которой чувствуется деньги, вложен-

ные с умом. Светлые стены, дорогой паркет, большие окна. На одной стене — картина. Не репродукция: она умела отличать.

Елена подошла ближе.

Небольшой формат, масло, какой-то современный испанский художник — она разобрала подпись внизу. Абстракция, но не пустая — в ней было что-то, какое-то движение, которое тянуло взгляд снова и снова.

Она простояла перед ней минуты три.

Потом взяла тряпку и пошла мыть полы.

Работа была привычной до автоматизма. Руки делали своё — тёрли, полоскали, выжимали, — а голова жила отдельно.

Я знал, что ты позвонишь.

Она меняла постельное белье в спальне — шёлковое, тёмно-серое, тяжёлое — и думала о том, сколько оно стоит. Наверное, столько, сколько она зарабатывала за неделю. Может, за две.

На прикроватном столике стояла фотография: мужчина, женщина, двое детей на каком-то морском курорте. Все смеялись. Синее небо, белые зубы, дорогие очки. Счастливые или умеющие выглядеть счастливыми — с чужих фотографий не поймёшь.

Она расправила простыню, взбила подушку, натянула пододеяльник — точными, давно отработанными движениями — и вышла.

В ванной обнаружили следы вечеринки: следы помады на бокале, оставленном прямо на полке, флакон духов с открытой крышкой, чья-то серёжка под раковиной. Маленькая, золотая, с красным камнем.

Елена повертела серёжку в пальцах.

Кто-то её потеряет. Или уже потерял и не заметил. Может, их так много, этих серёжек.

Она положила находку на полочку на виду и принялась за раковину.

Терраса выходила на крыши.

Елена вышла туда с ведром и щёткой и на секунду просто остановилась.

Москва лежала перед ней — серая, тяжёлая, майская, с набухшими почками на деревьях вдали и выцветшим небом. Где-то гудели машины. Пахло пылью и первой зеленью.

Она подумала о Мадриде.

Она никогда не была в Испании. Видела фотографии, конечно, — все видели. Жёлтый камень старых зданий. Оранжевые черепичные крыши. Синее небо, которое выглядело иначе, чем здесь, — насыщеннее, горячее, как будто нарисованное другой краской.

Я знал.

Она начала мыть перила.

В мастерской у неё стояли шесть картин. Шесть — за последние два года. Хорошие картины, она это знала. Не потому что была самонадеянной — она умела смотреть на свои работы холодно, как чужие. Просто она видела в них то, что вкладывала, и понимала: это не «мило». Это — что-то.

Только никто больше этого не видел.

Соседка Тамара Ивановна однажды зашла в мастерскую и долго смотрела на большую картину — ту, синюю, с фигурой на берегу — и наконец сказала: «Грустная у тебя живопись, Леночка». Как будто это был диагноз.

На прошлогодней групповой выставке в маленькой галерее на Садовом её работы провисели две недели и вернулись обратно. Куратор сказал что-то вежливое про «интересный поиск».

А Адриан сказал: «Ты пишешь о времени. О том, что оно не ждёт».

И она не понимала — откуда. Она никому этого не говорила. Она сама себе об этом не говорила. Но это была правда — точная, как игла.

Она скребла щёткой по плитке и думала: откуда он это знал.

В три часа позвонила Светлана Борисовна.

— Елена, вы там ещё?

— Заканчиваю террасу.

— Хорошо. Елена, вы в следующую пятницу можете взять ещё объект? Там в Хамовниках освободилось —

— Светлана Борисовна, — Елена остановилась, — я должна вам кое-что сказать.

Короткая пауза.

— Слушаю.

— Мне нужно взять несколько дней. Я уезжаю.

— Когда?

— Завтра.

Пауза стала длиннее.

— Завтра? — в голосе управляющей появилось то особенное выражение, которое Елена за три года научилась распознавать безошибочно. Не злость — хуже. Спокойное удивление человека, которому только что сказали что-то неуместное. — Елена, у нас четверг. Завтра у вас три объекта.

— Я понимаю. Мне жаль.

— Вы понимаете, что это создаёт проблемы?

— Да.

— И тем не менее.

— Тем не менее, — сказала Елена.

Снова пауза. Потом — уже другим тоном:

— Хорошо. Я найду замену. Но имейте в виду, Елена, что если это войдёт в привычку —

— Не войдёт.

Она убрала телефон и посмотрела на Москву с террасы.

Руки слегка дрожали.

Она уходила около пяти.

В коридоре она столкнулась с консьержем — пожилым мужчиной по имени Геннадий Семёнович, который всегда встречал её с одним и тем же выражением: не враждебным, но и не тёплым. Профессиональным.

— Уходите? — спросил он, принимая от неё ключи.

— Да. Всё готово.

— Гости завтра заезжают.

— Знаю.

Она уже надевала куртку, когда он сказал — как будто между делом, разглядывая ключи:

— Вы давно здесь работаете?

— Три года.

— Три года, — повторил он. Помолчал. — А чем занимались раньше?

Елена застегнула молнию.

— Рисовала.

— Ааа, — сказал Геннадий Семёнович. Без удивления, без интереса. Просто «ааа» — звук, которым заполняют паузу.

Она вышла.

На улице было холодно — не зимним холодом, а тем неприятным, промозглым, который бывает в Москве в мае, когда вроде бы весна, но погода ещё не решила. Елена подняла воротник и пошла к метро.

Три года. Рисовала. Ааа.

Вот оно. Вот как это выглядит снаружи.

Дома она долго сидела на полу в мастерской.

Не рисовала. Просто сидела среди своих картин, прислонившись спиной к стене, и смотрела на них по очереди.

Синяя — с фигурой на берегу.

Красная — почти абстрактная, с вертикальными штрихами, похожими на дождь.

Серая — городской пейзаж, в котором не было ни одного человека, только окна, окна, окна.

Три года. Шесть картин. Несколько групповых выставок. Один небольшой отзыв в никому не известном арт-блоге.

Она взяла в руки телефон и открыла сообщения. Никаких сообщений от неизвестного номера не было — только пропущенный вызов утром, исходящий.

Она перечитала записку.

Я знал, что ты позвонишь.

Она думала об этом весь день, и с каждым часом это «знал» давило всё сильнее. Не «надеялся». Не «хотел». Знал.

Это был либо невероятно уверенный в себе человек, либо...

Либо что?

Она не додумала эту мысль до конца.

Вместо этого она открыла ноутбук и начала искать его имя. Адриан — она не знала фамилии. Адрес на визитке был — улица, номер дома, Мадрид, никакого названия компании или организации. Просто адрес.

Она нашла несколько Адрианов в связи с арт-миром — один испанский галерист, один куратор, один коллекционер. Фотографии не совпадали ни с одним из них. Хотя — она видела его ночью, при плохом освещении, может, просто не узнала бы на фотографии.

Она закрыла ноутбук.

За окном темно.

Ира написала в восемь вечера.

«Ты летишь?»

Елена смотрела на экран. Потом напечатала:

*«Да». *

Три точки — Ира печатала. Потом:

*«Хорошо. Пришли мне его номер и адрес куда летишь. На всякий случай». *

Потом ещё одно сообщение:

«И напиши мне, когда сядешь в самолёт. И когда приземлишься. Договорились?»

Елена улыбнулась — первый раз за весь день по-настоящему.

«Договорились», — написала она.

*«Лен». *

«Что?»

Долгая пауза.

*«Просто будь осторожна. Я знаю, что ты давно этого ждала. Просто — будь осторожна».

*

Елена положила телефон. Встала. Подошла к синей картине и долго на неё смотрела.

Фигура на берегу. Спиной к зрителю. Перед ней — бесконечная вода.

Она написала эту картину два года назад, когда ей было особенно плохо. Когда казалось, что жизнь зашла в угол и там и остановилась. Она тогда не понимала, что рисует, — просто писала, пока не стало легче.

И только потом увидела: человек стоит перед морем и не знает — войти или уйти.

Ты пишешь о времени. О том, что оно не ждёт.

Она сняла картину со стены и поставила её на мольберт — лицом к комнате.

Потом пошла собирать чемодан.

Она укладывала вещи методично: пара смен одежды, документы, деньги — немного, всё что было, — кисти, маленький блокнот для зарисовок. Потом задумалась. Взяла из шкафа синее платье, которое почти никогда не надевала. Оно было красивым. Она купила его три года назад на распродаже, примерила дома и повесила обратно — не было случая.

Положила платье в чемодан.

Потом долго стояла над открытым чемоданом и думала.

Думала о том, что завтра в пятницу у неё было три объекта. Что Светлана Борисовна будет недовольна. Что денег едва хватит на неделю, если она не будет работать. Что она летит к человеку, которого видела один раз, ночью, при обстоятельствах, которые до сих пор не могла объяснить толком.

Что он знал её имя, прежде чем она его назвала.

Что он знал о её картинах вещи, которые она сама никогда не формулировала вслух.

Что он прислал билет раньше, чем телефон успел ответить.

Я знал, что ты позвонишь.

Она закрыла чемодан.

Вернулась в мастерскую, взяла синюю картину с мольберта и поставила её обратно к стене — лицом к стене. Она не хотела на неё смотреть.

Потом вытащила из ящика стола старую записную книжку, нашла нужную страницу и написала — медленно, как будто это требовало усилий — один вопрос:

Что ты готова отдать за это?

Смотрела на вопрос долго.

Потом закрыла книжку, не ответив.

За окном была ночная Москва — шумная, равнодушная, огромная. Где-то там, в этих миллионах окон, люди жили своими жизнями. Засыпали, просыпались, любили, теряли, зарабатывали деньги, тратили их, старели.

А она завтра в 14:40 садилась в самолёт.

К человеку, который знал о ней то, чего не знал никто.

И который, как она понимала сейчас — стоя в темноте своей маленькой мастерской, окружённая картинами, которые никто не покупал, — был её единственным настоящим шансом.

Или не шансом.

Но она больше не могла стоять перед этим морем и не двигаться.

Часть 2. Сделка

Глава 9. Контракт

Мадрид встретил её жарой.

Не той приятной летней теплотой, которую рисуют в путеводителях, — а тяжёлой, почти осязаемой жарой, которая давила на плечи и размывала горизонт в мареве. Елена вышла из такси и несколько секунд просто стояла на тротуаре, глядя на особняк.

Он был старым. Очень старым. Таким старым, что казалось, будто улица выросла вокруг него позже — случайно, смущённо, стараясь не задевать его стены.

Фасад из тёмного камня, почти чёрного в полуденном свете, уходил вверх на четыре этажа и заканчивался балюстрадой, над которой возвышались каменные фигуры. Елена не сразу поняла, что это за фигуры. Потом пригляделась — и слегка поёжилась, несмотря на жару. Ангелы. Но странные. С опущенными крыльями и склонёнными головами. Не торжествующие, не благословляющие. Скорбящие.

Ворота открылись прежде, чем она успела позвонить.

— Сеньорита Елена, — сказал человек в тёмном костюме, делая лёгкий поклон. — Вас ждут.

Она шла по дорожке из серого камня, по обе стороны которой стояли кипарисы — высокие, неподвижные, как часовые. Ни один листок не шевелился, хотя она могла поклясться, что лёгкий ветер всё-таки был.

Адриан стоял в дверях.

Она узнала его сразу — и всё же в первую секунду почти не узнала. На родине, в той случайной встрече, которая, как она теперь понимала, не была случайной, он казался просто красивым, хорошо одетым мужчиной с необычно светлыми глазами. Здесь, на пороге этого дома, он был другим. Или дом делал его другим. Или она сама изменилась за эти недели.

— Елена, — произнёс он. Только имя. Но так, будто оно что-то значило.

— Адриан, — ответила она, и собственный голос показался ей слишком тихим.

Внутри было прохладно и темновато — так бывает в старых церквях и в старых библиотеках, в местах, которые берегут себя от времени.

Первое, что она увидела, был холл: высокий потолок с лепниной, мраморный пол в шахматную клетку — чёрное и белое, — и лестница, уходящая наверх двумя пролётами, с перилами из кованого железа такой тонкой работы, что они казались застывшим дымом.

И картины. Везде картины.

— Ты коллекционер? — спросила Елена, стараясь говорить легко.

— Скорее свидетель, — ответил Адриан. — Я просто храню то, что создали другие.

Он жестом предложил ей идти рядом и двинулся вперёд — неторопливо, как человек, которому некуда спешить, потому что у него есть всё время мира.

Первая картина справа была фламандской, семнадцатый век, натюрморт: стол, уставленный плодами, цветами, бокалами с вином, — и в глубине, почти незаметный, человеческий череп среди изобилия. Елена остановилась.

— *Vanitas*, — произнёс Адриан за её спиной. — Художники той эпохи обожали напоминать зрителю о смерти. Даже когда рисовали красоту. Особенно когда рисовали красоту.

— Почему?

— Потому что красота без тени неполна. Она кажется нарисованной. Ненастоящей.

Елена прошла дальше. На следующей стене — портрет женщины, явно итальянской работы, Возрождение или чуть позже. Женщина смотрела на неё с холста с таким выраже-

нием, что Елена невольно остановилась. Не красота останавливала — взгляд. В нём было что-то живое. Что-то слишком живое для масла и холста.

— Кто это? — тихо спросила Елена.

— Женщина, которая была гениальна, но никогда не стала известна, — сказал Адриан просто. — Она рисовала для одного человека. Он держал её картины взаперти.

— Почему?

— Потому что боялся потерять её.

Елена отвела взгляд от картины — и всё же ей казалось, что женщина на портрете смотрит ей в спину всю дорогу до следующего зала.

Зал был большим, с окнами в пол, выходящими в сад. Но Елена почти не смотрела на сад. Она смотрела на скульптуры.

Их было несколько — расставленных по залу с таким расчётом, чтобы между ними оставалось пространство, воздух, возможность обойти и рассмотреть. Мрамор, бронза, один странный тёмный камень, который она не могла опознать. Фигуры были прекрасны — и тревожны. Что-то в их позах было неправильным. Не уродливым — именно неправильным. Слишком напряжённым. Как будто они двигались секунду назад и замерли, почуввав чужой взгляд.

— Ты не любишь скульптуру? — спросил Адриан, наблюдая за ней.

— Люблю. Просто эти... — Она запнулась. — Они немного пугают.

— Хорошее искусство всегда немного пугает, — сказал он без тени улыбки.

— Почему?

— Потому что хорошее искусство говорит правду. А правда неудобна.

Она взглянула на него. В рассеянном свете из окон его лицо было спокойным и очень внимательным. Так смотрят люди, которые умеют слушать лучше, чем говорить. Или которые давно научились угадывать слова прежде, чем они произнесены.

— Ты сказал, что хочешь поговорить о моей работе, — произнесла она.

— Да.

— Тогда почему мы ходим по дому и говорим об искусстве вообще?

— Потому что твоя работа — и есть искусство вообще, — ответил он. — А ты этого ещё не понимаешь.

Они сели в библиотеке — маленькой комнате, где стены снизу доверху были закрыты книгами. Настоящими книгами, старыми, в кожаных переплетах с золотым тиснением. Не для интерьера — для чтения. Некоторые корешки были потёрты и выцветшие.

Адриан налил ей вина — тёмного, почти чёрного в хрустальном бокале — и поставил перед ней, не спрашивая, хочет ли она.

— Расскажи мне о своих картинах, — сказал он.

Елена сделала глоток. Вино было тяжелым, сложным, с послевкусием, которое она не могла описать.

— Ты уже видел их. На сайте.

— Я видел изображения на экране, — сказал Адриан. — Это не то же самое, что услышать о них от тебя. Когда ты начала рисовать?

— В детстве.

— Конкретнее.

Она помолчала. Это был странный вопрос — не потому что трудный, а потому что требовал настоящего ответа, не вежливого.

— Мне было семь лет. Мы жили тогда... неважно где. Мне купили коробку акварели — дешёвую, пластмассовую, двенадцать цветов. Я не спала несколько ночей, просто смотрела на неё. Мне казалось, что внутри этой коробки находится что-то огромное.

— Так и было, — сказал Адриан.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что ты до сих пор это помнишь. Через столько лет. — Он чуть наклонил голову. — И что было потом?

— Потом? — Елена усмехнулась. — Потом была жизнь. Школа, которая не считала искусство важным. Семья, которая говорила — рисование не профессия. Потом деньги кончились, и надо было работать. — Она сделала паузу. — Ты знаешь, чем я занималась последние восемь лет.

— Знаю.

— И тебя это не смущает? Что ты хочешь говорить о моём творчестве с женщиной, которая до вчерашнего дня мыла чужие полы?

Адриан смотрел на неё спокойно.

— Микеланджело три года расписывал потолок, лежа на спине. Рембрандт умер в нищете. Моцарт был похоронен в безымянной могиле. — Лёгкая пауза. — Биография не определяет дарование, Елена. Только посредственности так думают.

Она не ответила. Молчание было тяжелым, но не неловким.

— Ты боишься, что я пожалею время, — продолжил он — и это не было вопросом. — Что посмотрю на твои работы и вежливо скажу что-нибудь нейтральное. Что всё это окажется очередным разочарованием. Что ты приехала в Мадрид, а он окажется таким же, как всё остальное.

Елена поставила бокал на стол.

— Ты умеешь читать мысли?

— Нет, — сказал он. — Просто умею слушать то, что не сказано.

После библиотеки он повёл её выше — по той самой лестнице с коваными перилами — на второй этаж, где вдоль длинного коридора висели работы, которые, по всей видимости, не принадлежали никаким известным именам. Небольшие холсты, этюды, наброски в рамках. Работы разных рук и разных эпох, но со странным внутренним единством.

— Чьи это? — спросила Елена.

— Людей, которых могло быть больше, — ответил Адриан. — Которые останавливались на полпути.

— Почему они останавливались?

— По-разному. Страх. Усталость. Неверие. — Он остановился у одного небольшого холста — темноватого, почти монохромного, с фигурой человека у окна. — Иногда просто потому, что рядом не было никого, кто сказал бы: продолжай.

Елена смотрела на картину. Что-то в ней было знакомым — не стиль, не техника. Ощущение. Одиночество фигуры у окна было таким точным, таким узнаваемым, что у неё сжалось горло.

— Я тоже так рисую, — сказала она тихо. — Много света. Много пространства. Люди у окон, люди у порогов. Всегда в ожидании чего-то.

— Я знаю, — сказал Адриан. — Я смотрел твои работы долго. — Он повернулся к ней. — Ты рисуешь надежду. Это редкость.

— Это слабость, — сказала она — и удивилась, что произнесла это вслух. Это была мысль, которую она годами носила в себе, не называя.

Адриан не возразил немедленно. Помолчал. Потом медленно произнёс:

— Надежда — это не слабость. Надежда — это то, чего не хватает. Именно поэтому за неё столько платят. — Пауза. — Но твои картины слишком светлые, Елена.

Она взглянула на него.

— Добавь тьму — и мир упадет к твоим ногам.

Фраза прозвучала просто. Тихо. Без нажима. Именно так говорят что-то абсолютно очевидное, что не нуждается в доказательствах. И именно поэтому она осталась в её голове — как игла, вошедшая точно в нерв.

— Что ты имеешь в виду? — спросила она.

— Я имею в виду, что великое искусство знает обе стороны, — сказал он. — Свет без тени — иллюстрация. Тьма без света — декорация. Но когда они вместе... — Он не договорил. Чуть улыбнулся. — Ты сама знаешь.

Они вышли на балкон второго этажа. Мадрид лежал внизу — горячий, охровый, живой. Вдали виднелись горы, синеватые от дымки. Елена облокотилась на перила и смотрела на город.

— Можно задать тебе вопрос? — сказала она.

— Всегда.

— Зачем ты это делаешь? Ищешь художников, привозишь их сюда, предлагаешь... что именно ты предлагаешь, кстати? Мы ещё не говорили об условиях.

— Говорим прямо сейчас, — сказал Адриан. — Я предлагаю тебе возможность. Мастерскую здесь, в Мадриде. Материалы. Время. Выход на нужных людей. — Пауза. — И пространство для того, чтобы стать тем, кем ты должна быть.

— Должна, — повторила она. — Странное слово.

— Не странное. Точное. — Он смотрел не на неё, а на город. — Есть люди, которые рождаются с чем-то внутри. Не с талантом — это слишком маленькое слово. С необходимостью. С тем, что должно быть выпущено наружу, иначе... — Он сделал паузу. — Иначе это разрушает человека изнутри. Ты знаешь, о чём я говорю.

Она знала.

— Ты видела таких людей, — продолжил он тихо. — Людей, которые не реализовали то, что должны были. Что с ними происходит?

Елена молчала. Она думала о матери. О соседке Вере Николаевне, которая в молодости пела, а потом просто перестала, и никто не знал почему. О Сашке из параллельного класса, который рисовал лучше всех, а потом уехал куда-то на север работать на заводе.

— Они уменьшаются, — сказала она наконец.

— Да, — согласился Адриан. — Они уменьшаются.

Потом был обед — тихий, с видом на сад, почти без слов. Адриан умел молчать так, что молчание не давило, а наоборот, давало воздух. Это было необычно. Люди, которых Елена знала, боялись тишины и заполняли её чем попало. Он, казалось, предпочитал её.

После обеда он сказал:

— Я хочу кое-что тебе показать.

Они спустились — не вниз, а ещё ниже, в подвальный этаж, который оказался вовсе не темным подвалом, а галереей. Длинным сводчатым залом с мягким рассеянным светом — откуда он шёл, Елена не поняла, источников не было видно. Вдоль стен стояли картины — лицом к стене, как это бывает в запасниках.

Адриан остановился посередине зала.

— Закрой глаза, — сказал он.

— Зачем?

— Просто закрой.

Она закрыла — с лёгким раздражением и лёгким любопытством, которое пересилило раздражение.

Несколько секунд ничего не происходило. Потом ей стало казаться, что в комнате изменился свет — даже сквозь закрытые веки. Теплее. Ярче.

— Теперь открой, — сказал Адриан.

Она открыла глаза.

Картины были повернуты лицом к ней.

И на каждой из них была она.

Нет — не она. Но её жизнь. Та жизнь, которой у неё не было, но которую она представляла в те редкие ночные минуты, когда позволяла себе мечтать.

Первая картина — большой зал, белые стены, люди в вечерних платьях, и в центре — ее работы. Её. Она узнала их. Свет, который она писала. Фигуры у окон. Но больше. Крупнее. Живее. И рядом с ними маленькие таблички с именем.

Вторая картина — она сама, в мастерской, огромной, залитой светом, с высокими окнами и полом, забрызганным краской. Кисть в руке, холст перед ней. Выражение лица такое, которое она знала только в самые редкие, самые настоящие минуты работы.

Третья — интерьер виллы, и сквозь окна видно море.

Четвёртая — разворот журнала, и её имя напечатано крупно.

Пятая — аукционный зал, табло с цифрой, от которой у неё перехватило дыхание.

— Это... — начала она и остановилась.

— Это возможно, — сказал Адриан тихо.

Елена медленно шла вдоль стен, и что-то внутри неё делалось с каждым шагом. Не радость — острее. Не боль — теплее. Что-то похожее на то, что она чувствовала в детстве, когда смотрела на новую коробку красок. Предчувствие огромного. Предчувствие себя.

Она остановилась перед последней картиной.

На ней была она — постарше, с сединой на висках, спокойная, уверенная. Она стояла перед своей работой и смотрела на неё так, как смотрит человек, который сделал что-то настоящее и знает об этом.

— Ты написал эти картины? — спросила она.

— Нет, — ответил Адриан. — Они появились сами.

Она обернулась к нему. Он смотрел на неё с тем же спокойным вниманием, которое она заметила с самого начала. В его глазах не было торжества — ничего похожего на торговца, показывающего товар. Было что-то другое. Что-то, что она не могла назвать.

— Это нереально, — сказала она.

— Реально то, что ты чувствуешь прямо сейчас, — ответил он.

И она не нашла, что возразить.

Они вернулись в библиотеку. За окнами начало темнеть — мадридские сумерки наступали быстро, и город за стёклами делался другим: мягче, темнее, живее.

Елена сидела в кресле с бокалом вина и молчала. Адриан сидел напротив и тоже молчал. Первой заговорила она.

— Я хочу сказать тебе кое-что. Прямо.

— Я слушаю.

— Восемь лет. Восемь лет я мою чужие квартиры. Встаю в пять утра. Еду через весь город с сумкой, в которой швабра, перчатки и средства для унитаза. — Она говорила ровно, без жалости к себе — просто перечисляла. — Прихожу домой в восемь вечера. Иногда девять. Руки такие, что кисть держать больно. — Пауза. — Но я рисую. Каждый вечер. Хотя бы час. Хотя бы полчаса. Потому что если я не буду рисовать, мне нечем будет дышать.

— Я знаю, — сказал Адриан.

— Откуда?

— Потому что иначе бы ты остановилась. Восемь лет — это долго. Большинство останавливаются раньше.

Елена поставила бокал.

— Я выставлялась три раза. Небольшие галереи. Продала семь картин. Семь за три года выставок. — Голос её чуть дрогнул — совсем чуть, она почти справилась. — Две купила соседка, потому что ей было жаль меня. Одну — знакомый, потому что ему нужно было что-то повесить на стену. Четыре — незнакомые люди. — Она сделала паузу. — Я плакала после каждой продажи незнакомому человеку. Не знаю, понимаешь ли ты, что это значит. Плакать от того, что кто-то чужой заплатил деньги за то, что ты создала.

— Понимаю, — сказал Адриан, и в его голосе было что-то такое, что она не стала сомневаться.

— И при этом я понимаю, что семь картин — это ничто. Что я никто. Что если я умру завтра, о моих работах не напишет ни одна строчка. Их разберут по квартирам родственники, если найдутся. Или выбросят. — Она подняла взгляд. — Это страшно. Не смерть страшна. Страшна незаметность. Прожить и не оставить ни следа.

Адриан долго молчал.

— Это не страх, — сказал он наконец. — Это ясность. Ты видишь вещи такими, какие они есть. Это редкость и это больно, я знаю. Но именно это делает из людей художников, а не hobbyist ов с красками по воскресеньям. — Он чуть наклонился вперёд. — Ты боишься стать невидимой, Елена. Но ты уже видима. Просто пока — только мне.

Она смотрела на него.

— И что за этим следует?

— Контракт, — сказал он просто.

Документ появился на столе так тихо и так естественно, что она не заметила, когда именно. Просто в какой-то момент он был там — несколько страниц, скреплённых, с мелким ровным текстом и строкой для подписи внизу последней страницы.

Рядом лежало перо. Старое, с тёмным корпусом, похожее на те, которыми подписывают важные документы в исторических фильмах.

Елена не прикоснулась к документу. Только смотрела.

— Ты не хочешь объяснить мне условия? — спросила она.

— Ты можешь прочитать, — сказал Адриан. — Всё написано точно.

— Я имею в виду простыми словами.

— Простыми словами. — Он встал и подошёл к окну, встав спиной к ней — и к документу. — Ты получаешь всё необходимое для работы. Мастерскую. Материалы. Связи. Время. Десять лет без беспокойства о деньгах, о крыше над головой, о том, продаётся ли что-то. Просто время для работы. — Пауза. — Взамен твои работы за эти десять лет принадлежат мне. Я решаю, где они выставляются, когда и как. Я строю твоё имя.

— А потом?

— Потом имя остаётся с тобой навсегда.

Елена встала. Она чувствовала, что сидеть уже нельзя — нужно двигаться, нужно что-то делать с той энергией, которая собиралась внутри. Она прошла по библиотеке — от двери к окну и обратно.

— Десять лет — это много, — сказала она.

— Или мало, — ответил он. — Смотря что ты делаешь с ними.

— Я не знаю тебя.

— Ты знаешь меня ровно столько, сколько нужно для этого решения.

— Это не звучит как обнадеживающий ответ, — сказала она.

— Нет, — согласился он. — Не звучит.

Она остановилась у стола. Смотрела на документ, не прикасаясь.

— Что, если я откажусь?

Адриан обернулся от окна. Его лицо было спокойным.

— Тогда я вызову тебе такси, ты поедешь в аэропорт и завтра утром будешь дома, — сказал он. — Это всё.

— Это всё?

— Это всё.

Она смотрела на него. Что-то в простоте этого ответа было страшнее любой угрозы.

— И я вернусь к своей прежней жизни.

— Да.

Прежняя жизнь. Она закрыла глаза на секунду, и та жизнь поднялась в ней со всей отчётливостью, как поднимается со дна что-то тяжёлое. Пятичасовой будильник. Запах чужих квартир — специфический, нейтральный запах жилья незнакомых людей, который она за восемь лет так и не перестала замечать. Вёдра. Перчатки, которые натирали запястья. Спина, которая болела к вечеру так, что она садилась прямо на пол в ванной и несколько минут просто сидела, прежде чем встать и идти домой. Холст, который ждал её. Маленькая мастерская — угол в комнате, если честно, просто угол с мольбертом. Свет из настольной лампы. Усталость такая, что кисть держать трудно, но она держала. Потому что это было единственное место, где она была собой.

И ещё — выставки. Небольшие залы, куда почти никто не приходил. Подруга Ира, которая всегда приходила, потому что это была подруга Ира. Незнакомые люди, которые ходили вдоль стен и иногда останавливались у её работ — ненадолго, вежливо. Отзывы, которые она читала потом в интернете: *интересно*, *неплохо*, *есть потенциал*. Потенциал. Восемь лет — и всё ещё потенциал.

Она открыла глаза.

— Мне нужно подумать, — сказала она.

— Конечно, — сказал Адриан. — Сколько тебе нужно?

— Не знаю. — Пауза. — Это большое решение.

— Самые большие решения принимаются за несколько секунд, — сказал он. — Остальное время мы просто убеждаем себя, что думаем.

Елена посмотрела на него долго.

— Ты всегда так говоришь с людьми?

— Только с теми, кому это нужно слышать.

Она снова подошла к столу. Взяла несколько страниц и начала читать. Текст был плотным, юридическим, с терминами, которые она понимала лишь частично. Но общий смысл был именно таким, как он сказал — точным, без скрытых ловушек, или, по крайней мере, без видимых.

Она перешла к последней странице. Строка для подписи. Дата. Рядом — перо.

— Здесь нет пункта о том, чего именно ты хочешь от моих работ, — сказала она. — Почему ты хочешь их? Зачем тебе это всё?

Адриан подошёл к столу и встал напротив неё.

— Я собираю, — сказал он просто. — Я собирал всегда. — Пауза. — Настоящее редко. Я умею его находить.

— И я — настоящее?

— Ты — одна из редких.

Она положила страницы обратно. Отступила от стола на шаг. Потом ещё на шаг.

— Я не могу, — сказала она.

Адриан ничего не ответил.

— Это слишком... — Она не договорила. — Я не знаю тебя. Я не знаю, откуда ты. Я не знаю, что ты на самом деле получишь от этого. Я приехала в Мадрид к человеку, с которым познакомилась один раз, и теперь подписываю контракт на десять лет. Это... это безумие.

— Да, — согласился Адриан. — Безумие.

— Тогда почему ты молчишь, как будто я всё равно подпишу?

— Потому что ты всё равно подпишешь, — сказал он тихо. Без жестокости. Без торжества. Просто как факт.

Елена уставилась на него.

— Ты не знаешь этого.

— Знаю. — Он отошёл от стола и снова встал у окна. За стеклом Мадрид светился огнями. — Я знаю, потому что ты уже приняла решение. Ещё до того, как зашла в этот дом. Может быть, ещё до того, как села в самолёт. Всё остальное — это ты ищешь разрешение себе.

— Разрешение?

— Разрешение хотеть того, чего хочешь. — Голос его был почти мягким. — Вас всю жизнь учат стыдиться желаний. Особенно больших. Говорят: будь реалистом, не высывайся, не жди слишком многого. И вы начинаете стыдиться самого желания. — Пауза. — Ты хочешь этого, Елена. Ты хотела этого всегда. И это не слабость. Это просто правда.

Она стояла посреди библиотеки, и комната вокруг неё казалась очень тихой. Книги. Огни за окном. Запах вина и старого дерева и чего-то ещё — непонятного, почти неуловимого, похожего на запах перед грозой.

Она думала о выставке, которую видела внизу. О своём лице на той последней картине — спокойном, знающем, сделавшем.

Она думала о пятичасовом будильнике.

О вёдрах.

О семи проданных картинах за три года.

О потенциале.

Она думала о той женщине на портрете в коридоре — той, что рисовала для одного человека, который прятал её работы, потому что боялся потерять её. И о том, что произошло с той женщиной. И о том, что произошло с её картинами.

Она подошла к столу.

Взяла перо.

Оно было тяжелее, чем она ожидала. Холоднее.

— Подожди, — сказала она. Голос прозвучал тихо, почти без звука.

Адриан молчал.

— Подожди, — повторила она — и не знала, кому говорит. Ему. Себе. Той женщине, которой она была последние восемь лет. Той женщине с картины на последней странице галереи.

Она стояла с пером в руке и не двигалась. Руки помнили другое перо — тонкие кисти, которые держишь иначе. Мягче. Осторожнее. Руки помнили холст, и краску, и то особенное напряжение в пальцах, которое бывает, когда ты точно знаешь следующий мазок.

— Я не знаю, что я теряю, — сказала она наконец.

— Нет, — согласился Адриан. — Не знаешь.

— Это честно.

— Я всегда честен, — сказал он, и что-то в этой фразе скользнуло мимо неё — какая-то тень, которую она не задержала. — Это моё правило.

Она опустила перо к строке.

Занесла его. И в последнюю секунду — снова почувствовала это. То самое. Предощущение чего-то огромного. Как в детстве, когда смотрела на новую коробку красок. Двенадцать цветов внутри. Целый мир внутри.

Добавь тьму — и мир упадёт к твоим ногам.

Елена поставила подпись.

Перо провело по бумаге — и след остался тёмно-красным. Почти чёрным. Почти алым. Она смотрела на него секунду, не понимая, потом подняла взгляд на Адриана.

Он смотрел на подпись. Потом поднял глаза на неё.

— Добро пожаловать, — сказал он тихо.

За окнами Мадрид горел огнями. Где-то далеко над горами собиралась туча — огромная, медленная, тёмная. Елена не смотрела на небо. Она смотрела на свою подпись.

Перо провело по бумаге — и след остался тёмно-красным. Почти чёрным. Почти алым. Она смотрела на него секунду, не понимая, потом подняла взгляд на Адриана.

Он смотрел на подпись. Потом поднял глаза на неё.

— Добро пожаловать, — сказал он тихо.

За окнами Мадрид горел огнями. Где-то далеко над горами собиралась туча — огромная, медленная, тёмная. Елена не смотрела на небо. Она смотрела на свою подпись.

На бумаге она выглядела иначе, чем всегда.

Темнее.

Окончательнее.

Как будто она написала не имя — а что-то другое. Что-то, у чего не было слова, но было значение.

Она отпустила перо.

Оно упало на стол с тихим, почти неслышимым звуком.

И тишина после него была не такой, как прежде.

Глава 10. Вилла

Свет пришёл раньше, чем она успела подготовиться к нему.

Он не просочился сквозь щели в шторах, как бывало в её московской комнате, — он ворвался, распахнул всё пространство сразу, разлился по белым стенам, по белому постельному белью, по белому потолку с лепниной в виде виноградных лоз. Елена открыла глаза и несколько секунд просто лежала, не двигаясь, глядя в этот незнакомый, слепящий, невозможный потолок.

Потом вспомнила.

Испания.

Она резко села на кровати.

За огромным панорамным окном — таким огромным, что оно занимало почти всю стену, — лежало море. Бирюзовое, живое, с белыми гребнями волн у горизонта. Небо над ним было почти белым у края и глубоко синим выше — такого синего Елена не видела никогда в жизни, точнее, видела на фотографиях, на чужих картинах, в фильмах, где красивые люди жили красивыми жизнями.

Теперь это синее небо было её окном.

— Боже, — сказала она вслух, в пустой комнате, просто чтобы услышать собственный голос и убедиться, что не спит.

Она встала босиком на прохладный каменный пол и подошла к окну. Прижала ладонь к стеклу. Стекло было тёплым — солнце уже успело прогреть его, хотя по положению света она понимала, что едва ли минуло восемь утра.

За окном, на нижней террасе, цвели белые олеандры.

Елена провела пальцами по стеклу — вниз, медленно — и ощутила что-то похожее на головокружение. Не физическое. Какое-то другое. Как будто реальность слегка накренилась.

Она прошла через спальню в коридор, а из коридора на главную террасу, и когда распахнула стеклянную дверь, тёплый воздух ударил её в лицо — солёный, чуть горьковатый, живой. Она зажмурилась.

Шум прибоя был здесь громче. Ритмичный, спокойный, огромный — как дыхание чего-то, что несравненно больше любого человека. Елена стояла на террасе в льняной пижаме, босиком, с растрёпанными волосами, и слушала море. Солнце легло на её плечи, на щёки, на закрытые веки — мягко, без жёсткости московского летнего зноя, иначе, нежнее, будто здешнее солнце умело быть ласковым.

Она открыла глаза.

Белые стены виллы светились. Ярко-красная бугенвиллея обвивала левый угол балюстрады. Внизу, в саду, виднелся бассейн — бирюзовый прямоугольник, почти неотличимый от моря вдаль, только неподвижный. Апельсиновые деревья у края сада, кипарисы, запах, который она не умела описать словами — такой, будто воздух здесь сделан из другого вещества.

Она засмеялась.

Просто засмеялась — неожиданно для самой себя, коротко и немного растерянно, как смеются, когда не знают, что ещё можно сделать.

А потом заплакала.

Не горько. Не громко. Слезы просто потекли сами по себе, и она не стала их вытирать, стояла и смотрела на море, и плакала, и чувствовала, как что-то огромное и долго сжатое внутри медленно разжимается.

Три года.

Три года — чужие квартиры, чужие кухни, чужая грязь. Запах химии на руках, который не отмывался ничем. Тяжесть ведер. Боль в спине к вечеру пятницы. Красные, огрубевшие

руки, которые она прятала в рукава, когда приходила на чужие вернисажи смотреть на чужие картины, продававшиеся за суммы, которые ей не заработать было за полгода.

Она помнила один вечер — ноябрьский, слякотный — когда пришла домой после десяти часов работы, упала на кровать и долго смотрела в потолок своей съёмной однушки, где над кроватью висели её собственные картины, которые никто не покупал. Они смотрели на неё сверху вниз. Она лежала и думала: *вот так и умру. В этой комнате. С этими картинами на стенах. И никто не узнает, что они были.*

А сейчас за её спиной стояла белая вилла в Марбелье.

Море лежало у её ног.

Елена вытерла щёки тыльной стороной ладони, сделала глубокий вдох, потом ещё один, а потом сделала то, что сделал бы любой человек двадцати восемью лет в такой момент — достала телефон и начала фотографировать.

Море. Бассейн. Олеандры. Небо. Тень от кипариса на белой стене. Собственные ноги на горячем камне террасы.

— Смотрите, где я нахожусь, — написала она Марине — подруге, с которой работала в одной клининговой компании, — и прикрепила фотографию моря.

Телефон завибрировал почти мгновенно.

*Это Испания???

ДА.

*КАК???

Она засмеялась снова. На этот раз — легко, без слёз.

Потом расскажу, — написала она и убрала телефон.

Потом она ходила по вилле.

Это заняло почти час — она шла медленно, трогала всё руками. Подоконники из белого мрамора, прохладные и гладкие. Деревянные балки потолка в гостиной, тёмные, старые, пахнущие воском. Дверные ручки из кованого железа. Лённые занавески, шевелящиеся от сквозняка. Огромный кухонный стол из дуба — такой стол, за которым могло бы сесть человек двенадцать, и Елена провела по нему ладонью, ощутив прохладу дерева.

В углу кухни стояла кофемашинка.

Елена смотрела на неё примерно с минуту, потом нашла кофе в плотной тёмной упаковке с каким-то названием по-испански, и заварила чашку, и встала с ней у открытого окна кухни, которое смотрело в сад, где пели птицы — громко, самозабвенно, на разные голоса.

Кофе был горьким и густым и пах почти невыносимо хорошо.

Она закрыла глаза.

Это ты, — сказала она себе тихо. — *Это твой дом. На год. Это — твоё*.

Ни одна из этих фраз по-настоящему не укладывалась в голову.

Адриан появился около десяти.

Она не слышала, как он вошёл, — просто подняла голову от книги, которую взяла с полки в гостиной и открыла наугад, и он уже стоял в дверях террасы, в светлых льняных брюках и белой рубашке с закатанными рукавами. Волосы чуть влажные — видимо, после душа. Выглядел так, будто никуда не спешил и никогда не спешил.

— Как вы спали? — спросил он.

— Не знаю, — сказала Елена честно. — Я не помню, когда заснула. И когда проснулась, несколько секунд не понимала, где нахожусь.

— Это нормально. — Он прошёл к столику у перил и поставил что-то, что принёс с собой, — корзину, накрытую льняной салфеткой. — Первые дни дом ещё незнакомый. Потом начинаешь думать, что всегда здесь жил.

— Мне кажется, я никогда к этому не привыкну.

— Ко всему привыкают, — сказал он без иронии. — Это и есть главная опасность счастья.

Она смотрела на него. Он откинул салфетку с корзины — хлеб, сыр, инжир, маленькие круглые помидоры, похожие на тёмные рубины.

— Садитесь, — сказал он просто.

Она села.

Они ели молча несколько минут. Внизу шумело море. Где-то в саду монотонно, будто заведённая, кричала горлица.

— Вы плакали сегодня утром, — сказал Адриан, не поднимая глаз от хлеба, который ломал руками.

Елена чуть не поперхнулась.

— Откуда вы...

— Глаза, — сказал он спокойно. — Они всегда остаются чуть светлее после слёз. Не бойтесь. Я не спрашиваю, почему.

— Я сама не могу объяснить, — сказала она после паузы. — Это было... не от горя. Совсем не от горя.

— Знаю. — Он наконец посмотрел на неё. — Иногда счастье причиняет боль. Особенно когда оно приходит поздно. Когда человек уже успел смириться с тем, что его не будет.

Елена опустила взгляд на чашку.

— Я смирилась, — сказала она тихо. — По-настоящему смирилась. Полгода назад я поняла, что, наверное, так и будет. Работа, однушка, картины, которые никто не берёт... Я перестала злиться. Просто приняла.

— И что вы почувствовали, когда приняли?

Она думала.

— Покой, — сказала она наконец. — Станный, пустой такой покой. Как будто что-то во мне выключилось. Что-то, что болело.

— Это не покой, — сказал Адриан. — Это называется иначе. — Он сделал паузу. — Люди путают усталость с мудростью. Решают, что раз им больше не больно, значит, они стали взрослее. Сильнее. А на самом деле — они просто перестали хотеть.

— Вы говорите так, будто это что-то плохое. Перестать хотеть.

— Для художника — самое плохое, что может случиться. — Его голос был ровным, без нажима, но что-то в интонации заставило её поднять взгляд. Он смотрел на неё. Не изучающе, не снисходительно — просто прямо, как смотрят на что-то, что считают важным. — Хотение — это и есть ваш инструмент, Елена. Не кисть. Не техника. Это.

— Но можно хотеть и не уметь.

— Можно. Но нельзя уметь — по-настоящему уметь — и не хотеть. — Он взял инжир, разломил его пополам — тёмно-красное, влажное, пахнущее сладостью. — Всё великое создаётся из невыносимого желания выразить что-то, для чего ещё нет слов. Или образов. Художник идёт к этому образу всю жизнь. Иногда находит. Иногда нет. Но те, кто остановились на полпути и назвали это покоем, — они не находят никогда.

Елена молчала.

— Вы думаете, у меня есть это? — спросила она наконец, и в вопросе было что-то очень уязвимое, что она обычно не позволяла себе вслух. — То, о чём вы говорите.

Адриан посмотрел на неё с чем-то, что она не умела опознать.

— Если бы не было — вы бы не плакали сегодня утром на террасе.

После завтрака он показывал ей виллу.

По-настоящему показывал — не как риелтор, перечисляющий квадратные метры и технические характеристики, а как человек, которому важно, чтобы гость понял что-то, что нельзя увидеть сразу. Он открывал двери в комнаты, рассказывал об их истории — вилле было больше ста лет, её строил некий каталонский архитектор на деньги промышленника, любившего Средиземноморье, но так и не переехавшего сюда жить.

— Он умер за три месяца до окончания строительства, — сказал Адриан, когда они стояли в длинной галерее с арочными окнами, выходящими в сад.

— Как грустно, — сказала Елена.

— Грустно, — согласился он. — Но он успел увидеть чертежи законченными. — Адриан смотрел в окно. — Иногда замысел важнее воплощения.

— Не согласна.

Он обернулся. Поднял брови чуть — едва заметно.

— Почему?

— Потому что замысел — это только ты сам. Только у тебя в голове. — Елена говорила быстро, чуть горячась, как всегда, когда тема была ей настоящей. — А воплощение — это когда оно выходит наружу. Когда другой человек стоит перед картиной и что-то чувствует. Своё. Не то, что ты хотел вложить, а что-то своё. Это уже не твоё — это уже живёт само. — Она замолчала, чуть смущённая собственной горячностью. — Простите. Я, наверное...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.